

84(2Рос:Р4с)6
и 39 > 03

36, 40

С И С И З Ю М С К И Й



НАЧАЛО ПУТИ

12
94

94

84(285-94)6
03 2 1139

Б. Изюмский

НАЧАЛО ПУТИ

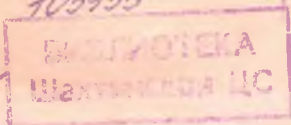
Записки офицера-воспитателя



Военное Издательство
Военного Министерства Союза ССР

Москва — 1958

103935





ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

ПРИЕЗД В УЧИЛИЩЕ

Два месяца тому назад, утром 18 ноября 1944 года, пригородный поезд, останавливающийся чуть ли не у каждого телеграфного столба, дотасился до небольшого городка, где отныне предстояло мне служить.

Получая назначение сюда, я не представлял себе ясно ни своих будущих обязанностей, ни самого училища. Знал только, что если в разгар Отечественной войны стали отзывать с фронта строевых офицеров с высшим педагогическим образованием, значит дело было большое и важное. В подходе к нему чувствовалась дальновидность.

В окопах, землянках, когда нам в руки попадали газеты и журналы с фотографиями суворовцев, мы искренне радовались — растет военная смена. И не раз слышал я, как товарищи удовлетворенно, с гордостью восклицали: «Вот это будут настоящие офицеры!»

Так говорили не потому, что себя считали «ненастоящими», а потому, что всегда хочется еще лучшего. Из газет же стало известно, что суворовцы получают фундаментальное среднее образование, с 9—10 лет вбирают в себя славные традиции нашей армии. Тут было чему радоваться.

Издали я увидел белое с колоннами здание, какие строились в старину — в смешанном стиле ампира и чего-то чисто русского — прочного, навеки сделанного.

Я ускорил шаг и, проходя аллеей высоких тополей, не отрываясь, смотрел теперь на красивый дом в три этажа, обнесенный решетчатой оградой, за которой виднелись сад и большой стадион.

У парадного входа в училище лежали на каменных подставках тела орудий грубого литья, наверно еще петровских времен, и пирамидками сложенные чугунные ядра.

В вестибюле я на секунду задержался у портрета Суворова, нарисованного во весь рост. В зеркалах портрет множился, многолико улыбался с хитрецей. По широкой мраморной лестнице я поднялся на второй этаж. Кафельный пол широкого коридора гулко звенел под ногами. В просторной комнате, украшенной портретами маршалов Советского Союза, висела огромная карта фронтов Отечественной войны. Чья-то внимательная рука уже отметила вчерашнее продвижение наших войск.

Во всем здании преобладали светлые тона, от этого оно казалось серебристым, наполненным свежим воздухом.

Я только успел представиться дежурному офицеру, майору Тутукину, когда неожиданно заиграла труба. Мы вышли в коридор.

— Сча-стливого пути, товарищ преподаватель! — громко раздалось из-за дверей ближайшего класса.

— Сча-стливого пути... — чуть глуше долетели из-за следующей двери детские голоса.

— Сча-стливого пути, — донеслось еще приглушенной.

По коридору, удаляясь, пронесся шум прощальных приветствий.

— Пройдемте на плац, — предложил майор.

Территория училища с многочисленными постройками, служебными помещениями, представляла собой настоящий военный городок.

Едва мы вошли во двор, как на заснеженном плацу стали появляться роты. Строем дойдя до середины, они рассыпались, и начиналась обычная мальчишеская возня: скользили с горки, перебрасывались снежками, играли в чехарду, кувыркались и бегали с пронзительными криками. Ребята были в черных шинелях с алыми погонами, в черных шапках и в длинных брюках с лампасами.

Громкие возгласы и смех сливались в сплошной гул, из которого иногда вырывались отчетливо фразы:

— Давайте играть в штурм Берлина!

— Партизаны, кто пойдет в разведку — за мной!

— Батарея — огонь!

С первого дня я убедился в том, как явственно ощущимо здесь дыхание войны. Карты с флажками, отмечающими продвижение наших войск, витрины с газетами, всюду и везде: в ротных канцеляриях, спальнях, классах — разговоры о том, что тревожит и радует сейчас всю страну. Мне сразу стало ясно: училище только условно можно назвать закрытым учебным заведением, не вкладывая в это понятие старый смысл — отгороженность от внешнего мира стеной кастовости, привилегий, презрения к «шпакам» — невоенным.

При всем своеобразии уклада жизни, внешней кажущейся замкнутости, училище не прежний «кадетский монастырь», а частица советской жизни, напряженной, страстной, победной, — и действительность легко переступает порог его массивных дверей. Тысячи нитей связывают коллектив училища с большой семьей страны, и он радуется ее радостями, переживает ее утраты, ликует при ее победах. Жизнь входит в училище через киноэкран, говорит голосом диктора, врывается потоком писем, сводок, призывов, волнует рассказами офицеров, гостей, книг — и все это крепит чувство слитности с народом, неразрывной связи с ним...

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Маленький, ладно сбитый майор Тутукин, с которым я познакомился как только прибыл в училище, стоял со мной в стороне от плаца и быстрым, всевидящим оком озирает двор. Ребята, пробегающие мимо майора, словно загипнотизированные его взыскующим взглядом, козыряли особенно рьяно: «припечатывая» ступни ног, прижав левую руку к бедру, доотказа повернув голову в сторону Тутукина. Видно о чем-то вспомнив, майор извинился, что покидает меня, и ушел, пообещав скоро возвратиться.

Я подошел к стоящему неподалеку широкоплечему, коренастому офицеру, лицо которого с живыми карими глазами еще сохранило летний загар.

— К нам? — дружелюбно спросил он, сверкнув великолепными зубами.

— К вам.

Мы познакомились.

— Наши, из роты Тутукина, — сказал капитан Беседа, кивнув в сторону самых маленьких ребят на плацу. — Вон, видите, крепыш большеголовый... Мечтает стать моряком, в Нахимовское не поехал потому, что оно далеко от дома, его мать здесь живет... Так вот этот «моряк» подвернул недавно воротник гимнастерки, на грудь вставил бумажную манишку с нарисованными широкими продольными полосами, — и готова «матросская тельняшка». Но это полбеда, хуже, что в сочинении он написал: «Царь Додон решил отдохнуть от ротных дел» — это вместо ратных-то... А вон, видите, веснушчатый мальчонка? — улыбаясь, словоохотливо продолжал Беседа. — Вчера стоит у зеркала и говорит своему другу: «Я крупным полководцем буду... Это точно... У меня глаза стальные, видал? — и воинственно сузил и без того маленькие глазки. — Стальные, как у Суворова!» «У тебя на щеках конопатины, таких полководцев не бывает», — это ему друг жестокий возразил. «А я на солнице загорю!» — нашел выход кандидат в полководцы. Или, смотрите, сейчас перебегает плац известный выдумщик — Максим Гурыба. Сегодня утром в классе он собрал ребят, переписал на бумажку прозвища и, крикнув: «Кличкам конец!», сжег бумажку. На боковой стороне парты Максима вы можете заметить несколько нарисованных им звезд. Если Максим недоволен собой (получил двойку, замечание от меня), он ставит на этой же боковой стороне парты минус, добился успеха — изображает «боевую звезду». Звезд накопилось уже изрядно, и он гордится: «Я воин, а не тряпка!».

Нет, детство здесь не отнимали, хотя и приобретало оно особую расцветку. И, словно в подтверждение этой мысли, я услышал неподалеку от себя восторженный мальчишеский возглас:

— Товарищ капитан, мы будем бабу лепить!

Старшие суворовцы — доотказа затянутые ремнями, с безукоризненной складкой брюк — по-два, по-три прогуливались в дальней аллее. То встречаясь, то расходясь, они перебрасывались негромкими фразами, шутливо толкали друг друга в сугроб, но падать не давали.

«Какие из них мои?» — подумал я со смешанным чувством любопытства и настороженности.

Возвратился майор Тутукин.

Мы с ним остановились у старой липы и, скрытые ею, могли наблюдать за происходящим вокруг. Почти разом прошли двое мальчиков, лет по одиннадцати.

— Мои, «мелкокалиберные», — прошептал Тутукин. — Дадико Мумуашвили, а тот, рыженький, Павлик Авилкин.

Мальчик с огромными восточными глазами говорил товарищу, обняв его:

— Я читал вчера стихотворение «Перчатка», там придворная дама есть — кокетка. Это кто? Я слово не пойму...

— Наверно, ведьма какая-нибудь, — убежденно сказал Павлик и вдруг неожиданно заявил. — Я сегодня на батарее ранен!

— Да ну? — в глазах товарища было доверчивое удивление.

— Верно говорю! Бежал по коридору и об угол батареи для отопления ка-ак бахнулся!

Они расхохотались.

По двору проходил бородатый мужчина в пенсне и каракулевой шапке горбом. В левой руке он держал разбухший портфель, а правую то и дело прикладывал к нему, давольно вперед, к голове, отвечая на приветствия воспитанников.

— Это кто? — полюбопытствовал я.

— Наш преподаватель математики Семен Герасимович Гаршев — великий знаток своего дела...

— Так в училище и штатские есть?

— Есть... Гаршев — лучший математик в городе. Мы его, так сказать, отвоевали для себя. Воспитанник Самсонов Семен! — вдруг зычно окликнул малыша майор.

Самсонов проворно подбежал и приложил к шапке руку в синей варежке.

— Воспитанник Самсонов! — мальчик вздернул нос с темной родинкой на самом кончике и растянул рот в благодушной улыбке.

— Опустите руку и перестаньте ухмыляться! Почему у вас такой неопрятный вид? Шинель в мелу... — майор приблизил свое лицо к воспитаннику. — Батюшки, шея грязная — в чернилах!

Самсонов виновато помаргивал белесыми ресницами, переступая с ноги на ногу. Ему, видимо, хотелось что-то сказать в свое оправдание, но он не решался.

— Запомните, Самсонов, — медленно, выделяя каждое слово, сказал майор, — если вы когда-нибудь увидите меня неряшливо одетым, с оторванной или непочищенной пуговицей, можете быть и сами таким неряшливым всегда! А сейчас даю вам десять минут на приведение себя в порядок. Ступайте!

— Слушаюсь, привести себя в порядок! — и маленький Самсонов побежал, смешно перебирая ногами в длинных брюках.

— Одну минуту, — возвратил его Тутукин. — Вы знаете воспитанника Ковалева Владимира из первой роты?

— Так точно, знаю, — бойко начал малыш. — Он мне рогатку сде... — и поперхнулся, спохватившись, что сказал лишнее.

— Пришлите его ко мне, — приказал майор. — На выполнение этого приказа добавляю еще пять минут.

— Слушаюсь, прислать Володь... воспитанника Ковалева.

В широко распахнувшиеся ворота училища въехала голубая машина. Сигарообразный кузов ее сидел так низко, что, казалось, скользил без колес по снегу.

Из машины вышел, слегка прихрамывая, генерал в темносерой шинели.

— Училище, смирно! — удивительно зычным для его комплекции голосом подал команду Тутукин и подошел к генералу с докладом...

В КЛАССЕ

И вот на следующий день по приезде, после обычного представления генералу, начальнику училища, я иду тихими коридорами рядом с Ломжиным — бритоголовым, слегка сутулящимся подполковником из учебного отдела училища и командиром 1-й роты подполковником Островским и, сердясь на себя, мысленно убеждаю: «Ну чего трусишь? Такие же мальчишки, какие были у тебя несколько лет назад, только на этих форма...»

Был вечерний час, в расписаниях училища именуемый «самоподготовкой», а попросту — час приготовления уроков.

При нашем входе в класс кряжистый, широкогрудый воспитанник, сидевший на первой парте, крикнул ломающимся баском:

— Встать! Смирно! — и, отбивая шаг, остановился недалеко от Ломжина, расправив плечи. — Товарищ подполковник, первое отделение первой роты в количестве двадцати пяти человек на самоподготовке, отсутствующих нет. Старший воспитанник Лыков Василий.

— Здравствуйте, товарищи воспитанники! — энергично поздоровался Ломжин.

— Здравия желаем, товарищ подполковник! — отрывисто и громко раздалось в ответ, и эта рьяность неприятно удивила меня. Шевельнулась мысль о муштре и солдатиках. Позже, несколько войдя во внутренний мир училища, я убедился в неосновательности своих опасений, узнал, что ребятам доставляет удовольствие браво и оглушительно отвечать на приветствия. Для суворовцев быстро становятся привычкой требования строя, команд — все это легко и охотно перенимается ими у офицеров. Жизнь училища, с вечерними поверками, часовым у знамени, маршем под оркестр, с бесчисленным множеством чисто военных особенностей, так же естественна для ребят, как жизнь в любой школе, и только немногие воспитанники первое время тяготятся ею. Манера отвечать с бравым видом, прямой взгляд, белоснежный подворотничок и строгая походка — неотъемлемая принадлежность суворовца. Появление старчески шаркающего юнца, при ответе подпирающего плечом стену или доску, было бы в училище противоестественно.

— Садитесь, — разрешил подполковник. — Ваш новый воспитатель, представил он меня, — прошу любить и жаловать — и, доброжелательно кивнув мне головой, вышел вместе с командиром роты.

Я остался с отделением. Внимательно оглядел всех — хотелось сразу запомнить лица, чтобы скорее научиться узнавать каждого в отдельности. Но ребята показались мне удивительно похожими друг на друга: в одинаковых суконных черных гимнастерках, с одинаково блестящими пуговицами, с одинаково стриженными под машинку головами, одинаково задорными лицами — здоровыми, розовыми, очень чистыми, будто после горячего душа.

Они сидели по-двое, старательно прямо, положив руки на крышки парт, всем видом показывая благопристой-

ность, но мальчишески настороженные глаза, видно, отметили мгновенно все. Я даже приблизительно знал ход их мысли: «Погоны зеленые, фронтовые... Краешек ордена обтрепался, сразу видно, давно получил... Лицо серьезное, не обидчивое — видно, строгий, только бы не «заядлый» (так называют они особо требовательных). Ну, посмотрим, посмотрим...»

Молчание и взаимное разглядывание длилось, пожалуй, слишком долго. Я сделал решительный шаг к первой парте и негромким голосом твердо сказал:

— Думаю, мы подружмся. Не сомневаюсь, что будем вместе стремиться к тому, чтобы наше отделение стало ведущим в училище. И когда через несколько лет генерал вручит вам аттестаты об успешном окончании училища, а имена лучших будут занесены на мраморную доску почета в актовом зале, мы снова соберемся на прощанье в этом классе и скажем: — мы дружно жили и неплохо работали!.. Советский народ возлагает на вас большие надежды... очень... Вам доверит он защищать нашу великую державу... Ну, так поработаем как следует? — спросил я и не удержался — улыбнулся. Они мне нравились — эти сохраняющие дипломатическое молчание мальчишки. Над задней партой поднялась рука.

— Пожалуйста... — разрешил я.

Встал подросток с такими синими глазами, что, казалось, синева не могла уместиться в них и, перелившись за края век, чуть заметно проступала на коже, словно тень от густых ресниц.

— Воспитанник Пашков Геннадий, — отчеканил он и, помолчав, неожиданно спросил:

— Товарищ капитан, а орден вы за что получили?

Меньше всего я ожидал услышать такой вопрос и немного растерялся. Я рассказал ребятам о памятном для меня бое...

— Танковая атака была отбита, после боя мы похоронили лейтенанта Чумака в рощице... под молодым дубком, — закончил я свой рассказ.

Меня поразила тишина в классе. Было слышно, как в стекла окон бьются ледяные крупинки.

— В том бою вы орден получили? — тихо спросил кто-то.

— Да... Мы помогали Чумаку... прямой наводкой...

СПОР КОМАНДИРОВ РОТ

Как-то вечером я зашел в офицерскую комнату отдыха. Здесь уютно: в приятном полумраке поблескивают зеркала, из камина веет теплом, тают и никак не растают хрустальные льдинки люстры.

За маленьким столиком командиры первой и пятой рот — подполковник Островский и майор Тутукин — играют в шахматы. Я прошел в соседнюю комнату и начал просматривать газеты.

Закончив партию, командиры подсели ближе к камину и начали, если так можно выразиться, «программный» спор, к которому я невольно возвращаюсь мыслью все эти дни: он мне кажется чрезвычайно важным.

Отношения между Островским и Тутукиным сразу же, как только я осмотрелся в училище, показались мне несколько странными: дружеское расположение, взаимное доброжелательство — и в то же время горячая непримиримость, когда дело касалось педагогических взглядов.

Каждый из них представлял крайние взгляды.

Майор Тутукин, пришедший в Суворовское из пехотного офицерского училища — строевик, ярый поклонник воинских порядков, поборник самых решительных мер педагогического воздействия на суворовцев. Он не признает срединных решений и считает, что только жесткая дисциплина обеспечит нужный порядок.

Подполковник Островский, призванный во время войны из запаса, наоборот, полагает, что на воспитанников следует действовать главным образом мягкостью, убеждением, все время помнить: перед тобой ребенок, и ранить его душу очень легко.

Исходя из своих педагогических воззрений, командиры рот каждый по-своему строили свою работу.

Малыши майора Тутукина послушно вытягивались перед командиром роты, но, оставшись наедине, давали естественный выход своей энергии, затевали самые отчаянные игры, устраивали бои отделения с отделением, рискуя расшибиться, съезжали по перилам лестницы. Однако стоило показаться кому-нибудь из взрослых, как они лихо щелкали каблуками и прилежно провожали глазами начальство.

Пятнадцати-шестнадцатилетние подростки — подопечные Островского, — быстро обнаружив мягкосердечность

подполковника, не прочь были использовать эту его черту характера в своих интересах — нарушив дисциплину, избразить раскаяние, прикинуться ребенком, с которого и спрос-то мал, а получив отеческое внушение, иронически фыркать за дверью, в кругу обступивших товарищей:

— Нота-а-цию читал, а я, ребята, пуще всего боялся, что лишит городского отпуска.

Только вмешательство генерала смягчало крайности командиров рот.

— Владимир Иванович, — спрашивал генерал у Тутукина, — ты хочешь игры-то для своих ребят организуешь? Ведь мы в детские годы любили в индейцев поиграть, разные там пироги, томагавки — помнишь? Героев в лицах изображали...

— Будет организовано, товарищ гвардии генерал! — обещал Тутукин, выпрямляя крутую грудь и про себя удивляясь причудам начальства.

— Надо, надо, — мягко внушал ему Полуэктов, — кругом поворачиваться и «так точно» говорить они еще научатся, а детства ты их не лишай.

С Островским генерал вел разговор по-иному:

— Ты мне, Виталий Петрович, либерализма не разводи! Убеждение уговариванием не подменяй! Юношам твоим время нести полную ответственность за проступки; безнаказанность, как ржавчина, дисциплину разъедает. «Понеже ничто так ко злу не приводит, как слабая команда». Верно? Пашкова-то наказал за опоздание из отпуска в город?

— Да знаете... — мялся подполковник.

— Знаю, знаю, — прервал его генерал, — нотацию читал... Может быть, даже слезу у Пашкова из глаз выдавил и рад педагогической победе. Категорически требую, товарищ Островский, — перешел генерал на официальный тон, — навести порядок в роте. Поменьше «пожалуйста». Вы, с вашими «отдушинками», забываете, что они уже юноши! Они растут, взрослыми людьми становятся, а вы их всё пригостишками считаете.

На этот раз Островский и Тутукин сначала перебрасывались малозначащими фразами, словно нащупывая тему, достойную сражения.

— Вот вы говорите — сержанты, сержанты, на них положиться можно. А история с Найденовым? — напомнил Островский.

В училище всем известно было это необычайное происшествие... Старшину Найденова, широкоплечего детину с золотым зубом, нагло вато поблескивающим во рту, первое отделение третьей роты невзлюбило сразу. У него было слишком мало данных, чтобы завоевать доверие ребят и уважение к себе.

Однажды Вася Коробов, тихий, послушный тринадцатилетний мальчик, попросил разрешение у преподавателя естествознания, майора Бубенцова, перенести ежа в соседний корпус. Возвратясь с прогулки, Вася осторожно положил ежа в шапку и выбежал во двор, держа ее перед собой. Здесь его остановил Найденов.

— Что у тебя в шапке? — подозрительно спросил он.

— Еж, — доверчиво ответил Коробов.

— Положи сюда! — грубо потребовал старшина.

— Мне майор разрешил... — начал было Коробов.

— Давай, давай! — наступал на него Найденов.

Вокруг собрались воспитанники, и для старшины теперь было вопросом престижа отобрать ежа. Вася на шаг отступил. Найденов ухватился за его шапку и так ее дернул, что Коробов упал на снег...

Вскочив, мальчик зло закричал со слезами в голосе:

— Вы не имеете права!

— Ну, ну, поговори! Еще не то заработаешь за неподчинение, — куражась, пригрозил старшина и ушел, унося злополучного ежа.

На следующее утро Найденов вел отделение к плацу на строевые занятия.

Когда ребята поровнялись с местом вчерашнего происшествия, все двадцать пять воспитанников, как один, сняли шапки, положили их на правую руку, согнутую в локте, и, выдвинув ее вперед, повернули, словно по команде, головы в сторону «места несправедливости».

— Кру-гом! — взревел старшина. Мальчики повернулись кругом, но дойдя опять до «места несправедливости», повторили приветствие.

— Ну, и как вы расцениваете это событие? — осторожно произнес Тутукин.

— Я сделал бы строгое внушение старшине и предупредил бы тем повторение грубости с его стороны, — ответил подполковник Островский.

— А отделение? — пододвинулся к нему с креслом майор.

— Отделение? — не понимая еще, что вызов ему уже брошен, переспросил подполковник. — Они по-мальчишески остроумно протестовали против грубости взрослого.

— И вы толкнули бы воспитанников на новое организованное неповиновение! — уличающе воскликнул Тутукин.

— А вы бы что сделали?

— Старшину арестовал бы суток на десять — раз! Отделение лишил бы на две недели отпуска в город — два... — стал решительно перечислять майор.

— И этим самым, — попрежнему медленно выговорил Островский, — из мухи сделали бы слона, фиксировали внимание всего отделения на этом проступке, придали ему окраску организованного неповиновения и, наказав всех оптом, превратили бы ребят в мучеников, пострадавших за правду, утвердили бы в них желание снова коллективом дать отпор.

— Но вы забываете, уважаемый Виталий Петрович...

Спор набирал высоту, и только поздний час мог теперь прекратить его...

Почему-то последние дни я нахожусь под впечатлением этого разговора. В нем, мне кажется, кроется ключ всей линии воспитания в училище. Но пока я не знаю еще, кто прав в этом споре.

ГЛУБИННОЕ ТЕЧЕНИЕ

Отделение, показавшееся мне в первый час знакомства с ним таким одноликим, на самом деле оказалось очень разнохарактерным. Из рассказов учителей-«старожилов», разговоров с ребятами, писем родителей скоро стали проступать лица и характеры — «завитки личности», как говорил Макаренко.

Легко умиляться, увидев фотографии суворовцев в «Огоньке» или встретив мальчишку в брюках с лампасами, браво козыряющего на улице, но совсем по-иному раскрываются ребята, когда ближе узнаешь их внутренний мир — сложный, наполненный борьбой нового со старым и победой нового. Тяжкие условия, в которые волей обстоятельств попали многие дети в годы войны, оставили свой след.

Пришли в училище среди других курильщики, забияки, дети, жестоко раненные жизнью. Их надо приучить к коллективу, сделать достойными его.

Год совместной жизни объединил ребят лишь первой связью, раскрыл слабости и достоинства каждого, но настоящей дружбы еще не принес. Я заметил, что любят левофлангового — безобидного балагура Павлика Снопкова, уважают меланхоличного, длинного Андриюшу Суркова за талант рисовать, Геннадию же Пашкову, по всем признакам дома заласканному мамой, с первых дней дали прозвище «Осман-паша». Его недолюбливают, хотя признают в нем лучшего рассказчика приключенческих историй. Совсем другим было отношение к Савве Братушкину; его, правда, прозвали «форсуном», но в его «задавашестве» склонны были видеть не гонор и себялюбие, как у Пашкова, а лихость.

Стремление обратить на себя внимание принимало у Братушкина уморительные формы, а порой доставляло ему даже неприятности. При игре в футбол, желая единолично забить мяч, Братушкин вечно получал от судьи штрафные за офсайд, так как «пасся» в запретной зоне. В прошлую зиму — бесснежную и морозную — Савва до тех пор не опускал на прогулках наушники шапки, пока не отморозил ухо.

Расписывался он с загогулинами, облакоподобными росчерками, в скобках поясняя печатными буквами — Братушкин. А при ходьбе вне строя — правой ногой, казалось, ввинчивал что-то в пол и немного раскачивался «по-матросски».

Старшим отделения был грудастый, квадратный Василий Лыков — большой любитель покушать и поспать. В перемену он, вобрав короткую шею в плечи и склонив набок голову, разминал мускулы приемами бокса и, оттопырив губы, наносил удары невидимому противнику. Под партой у Лыкова была спрятана двухнудовая гирия, которую он на свободе, играючись, подбрасывал и ловил на лету.

В первые месяцы пребывания в училище Лыков пытался установить в классе «режим кулака»: подговорил как-то одноклассников не писать работу по математике, преследовал Пашкова. Преподаватели разводили руками, удивлялись обилию в роте чрезвычайных происшествий, но не подозревали, что все это дело рук Лыкова, которого офицеры называли между собой ласково «Василек» — он казался добродушным увальнем. Все выяснилось неожиданно. Класс сам решил «свергнуть его». Лыков утихомирился.

За одной партой в классе сидят Семен Гербов — спокойный, рассудительный юноша с продолговатым лицом — и сухощавый, смуглый, с резким вырезом крыльев ноздрей Володя Ковалев, характер которого мне еще не ясен. Они очень дружны между собой. Мне рассказали, что началась эта дружба так. На второй день после прибытия Володи в училище Василий Лыков, зайдя в библиотеку, увидел в руках у Ковалева «Таинственный остров» Жюль-Верна. Он выхватил книгу у Володи из рук и заявил библиотекарю: «Эту я беру». Семен протиснулся боком между спорщиками, спокойно вытянул книгу у оторопевшего Василия и веско сказал ему, возвращая через плечо книгу Ковалеву: «Он прочтет, тогда тебе передаст».

У Семена никого из родных не было, кроме дедушки в дальней деревне Витебской области. Мать умерла за три года до начала войны, старший брат был замучен в гестапо, а отца выдал немецкому коменданту полицай. Семен бежал к партизанам в лес, а когда Советская Армия освободила их местность, его усыновил арtpолк, где в тринадцать лет Семена за боевые заслуги приняли в комсомол и прислали в училище «для дальнейшего прохождения службы», — как значилось в направлении.

Дружба Семена и Володи лишена была нежностей, но за внешней кажущейся грубоватостью отношений скрывалось теплое, прочное чувство.

Когда Ковалев заболел, Семен ежедневно приходил в санчасть и часами просиживал у койки друга. Гербов был немного ленив, вернее, это была даже не лень, а просто за годы войны он отвык от учебы, отстал и теперь не всегда мог перебороть в себе желание отодвинуть «на потом» выполнение трудного задания. Особенно не давалась ему математика. «Эти уравнения непобедимы», — обреченно говорил Семен, захлопывая задачник. Тогда Ковалев стал заниматься с ним сам. Он оказался неумолимым учителем, и уравнения «сдались». Вкусы и привычки Семена и Володи были очень разными, в одном только они сходились: оба терпеть не могли борщ и баню, хотя с удовольствием и долго плескались под умывальником. Происхождение этой смешной антипатии было совершенно необъяснимо, но и она сближала их.

К службе в армии Володя готовился упорно. Решив, что он хилый, закалял свое худощавое, но сильное тело:

1958 12996

зимой обтирался ледяной водой, а если поблизости не было офицера, то и снегом. Дома, во время каникул, спал на голом полу, и мать не решалась перечить, просто-душно предположив, что это крайности современного физического воспитания. Чтобы развить выносливость, Ковалев как-то решил четверо суток не брать в рот ни капли жидкости, но на третий день не выдержал испытания — и был очень недоволен собой. Даже из развлечения Володя, может быть не всегда вполне сознательно, стремился извлечь нечто полезное для будущей нелегкой службы. А что она будет нелегкой — он ни минуты не сомневался, и его особенно привлекала мысль о преодолении больших трудностей. Володя первый предложил создать в роте автокружок — изучить мотор и управление машиной. Это оказалось вполне осуществимо, потому что гараж училища находился рядом.

Увлечения Ковалева, я замечая, разнообразны, но все они направлены к тому, чтобы подготовить себя как можно лучше именно к военной службе. Это главный жизненный интерес мальчика, выполнение молчаливой клятвы отцу-командиру, погибшему в бою.

Любимый журнал Володи — военный. Вряд ли Володя все понимает в нем, но старательно выписывает оттуда в особую тетрадь схемы, таблицы, высказывания полководцев.

Книгу о Суворове, подарок матери, он исчертил красными пометками, надписями на полях. На последней, чистой странице написал свое стихотворение:

10407 —

Кто взял Измаил неприступный,
Искусством кто мир удивил,
Дотоле такой недоступный
Проход Сен-Готар покорил?
Кто бил без усталости свору,
Кто рядом с солдатом шел в бой?
То прадед наш — храбрый Суворов,
Солдат, полководец, герой.
Суворов всегда рядом с нами,
И слышится мне, говорит:
«Потомки, походы за вами,
Вам будущее хранить».
...Потомки его молодые
Ответ полководцу дают:
«Мы — русские, все одолеем!
Учебу, походы и труд.
И горе врагу — коль посмеет
На нашу страну посягнуть!»

Ребята рассказывают, что в первые месяцы пребывания в училище на Ковалева то и дело насакивал с кулаками Лыков, не забывший поражения в библиотеке. Лыков был сильнее Володи. Тогда Володя начал обучаться приемам бокса и тем утвердил свою независимость.

И все же, несмотря на то, что я как будто уже многое знаю о ребятах, я еще не вошел в глубинное течение отделения. Течение это проходит где-то рядом, не вбирая меня. Знаю, что не всякому дано входить в него. Воспитатель может проработать годы, так и не узнав внутренней жизни детского коллектива, но, если ребята признали воспитателя своим, достойным уважения и доверия, — «тайны» перестают существовать для него, и каждый день радуется педагога все возрастающей душевной близостью с учениками.

У меня пока что этой близости с ребятами нет. Выполняют приказания, но под нажимом; неплохо относятся ко мне, но без теплоты и душевной искренности. И я начинаю, грешным делом, думать — полно, да нужна ли здесь, в закрытом военном учебном заведении, пресловутая близость, хваленая сердечность, часто порождающие лжедемократизм. Есть повиновение, выполнение долга мной и ими. Что же еще?

Особые условия — воинские звания, суровый распорядок дня, форма одежды, взаимоотношения подчиненных и начальников — не располагают к задушевности, возможно, даже предусматривают сохранение «полосы отчужденности», которая привносит струю законной воинской сдержанности, не оставляет места для сентиментальности. Около десяти лет назад, начиная свой путь в школе, я ступил на тропку довольно многочисленных педагогических сластен, которые считают обязательным снискать себе всеобщее восхищение. Они теряют покой, когда им кажется, что кто-то из учеников их недолюбливает, считают проявлением зависти, если кто-то из товарищей по работе не восторгается ими. От этой детской болезни педагогического себялюбия я, к счастью, скоро излечился. Помог старый школьный учитель, который не поленился заняться мной. Но с тех пор в сознании остался некий скептицизм в отношении к «душещипательным» разговорам, недоверчивость к проповедникам интимной близости с учениками. Ты честно выполняешь свой долг? Делашь для них всё, что можешь, требуешь в полную силу, а глав-

ное, держишь ответ перед совестью: так ли сделал, чтобы твои воспитанники росли настоящими гражданами? Остальное — признательность, благодарность, нежные чувства — дело десятое и придет само. А и не придет, не велика беда...

ПОЛКОВНИК ЗОРИН

Мне бы хотелось описать человека, который — я это ясно чувствую — оказывает решающее влияние на всю жизнь училища. Речь идет о начальнике политотдела полковнике Зорине.

Лет двадцать назад Зорин работал директором школы, потом заведующим городским отделом народного образования; политруком он участвовал в финской кампании и комиссаром дивизии в защите Севастополя в 1942 году. С перебитыми разрывной пулей рукой и ключицей, обескровленного, его доставили в последнем эшелоне раненых, вывезенных из города, на «Большую землю». После многих мучительных операций Зорин вышел, наконец, из госпиталя и получил назначение в Суворовское училище. Ехал он сюда, как, впрочем, и многие офицеры, с некоторым беспокойным сомнением — справится ли с совершенно незнакомым делом? Полковник успокаивал себя тем, что ведь это, собственно, та же детская школа, но с усложненной задачей — вырастить нового военного человека. Первые месяцы работы принесли много огорчений: что-то не ладилось, то там, то здесь, захлестывали бесчисленные организационные дела. Зорин чувствовал, что теряет лицо политического руководителя, именно политического, и напряженно, мучительно искал ускользающую основную нить своей работы. Он внимательно приглядывался к коллективу училища, перечитывал учебники педагогики, но все это, конечно, не давало ответа, каким должен быть стиль работы начальника политического отдела. Директивы, инструкции, получаемые сверху, только в общих чертах определяли круг его обязанностей, претворение же всего этого в жизнь настоятельно требовало каких-то новых, особых путей.

Вскоре Зорин пришел к убеждению: воспитатель, обладая даром педагогического предвидения, может предотвратить многое нежелательное, развить в ребенке нужное. Эту мысль Зорин настойчиво внушал офицерам. Для политических занятий и лекций он подбирал такие темы,

которые учили бы искусству большевистского предвидения. Ему совершенно ясно было: главное — **политическое воспитание** личного состава, это определит успех всей работы. Затем Зорин пришел к твердому выводу — суворовцев надо воспитывать так, чтобы они чувствовали: воинская служба тяжела, впереди трудный путь и к нему следует готовиться теперь. Он неутомимо разъяснял это воспитателям, советовал смелее вовлекать детей в труд, рассказывать им, как нелегко даются победы сейчас на фронте и в тылу, внушать, что их ждут немалые трудности. На мысль о таком направлении политической работы натолкнул Зорина случай в 3-й роте. Четырнадцатилетний Петр Самарцев заявил офицеру, что он не собирается стать «Ванькой взводным», а будет разрабатывать планы в Генштабе. Потребовалось рассказать детям и о службе командира взвода, и о дворянских сынках старой армии, которым с детства уготовливались теплые места, и о многом другом.

На педагогическом совете Зорин обратился к офицерам с предостережением:

— Мы не вправе выращивать цыплят вместо орлят.

Противник рутины в любом ее проявлении Зорин и в педагогическом деле стремился найти какие-то новые, свежие приемы.

Бежал из училища Петя Рогов — нелюдимый тринадцатилетний мальчик с угрюмым взглядом исподлобья. Через шесть дней Петя, голодный и пристыженный, возвратился в училище. Его вызвал к себе Зорин.

— Почему ты бежал? — спросил он прямо, и Рогов почувствовал, что говорить неправду или молчать нельзя.

— Я хочу стать знаменитым поэтом... Думал побродяжничать по Руси, набраться впечатлений и написать произведение, которое прогремит на весь мир!

— Разве ты не понимаешь, что для этого надо быть образованным человеком?

— А Горький! — страстно воскликнул Петя.

— Горький не раз сетовал, что не имел возможности получить в детстве систематическое образование. Царское правительство закрывало двери учебных заведений для детей трудящихся. И потом, ты уверен, Петр, что талантлив, как Горький?

— Нет, я в этом не уверен, — мрачно сказал мальчик и решительно добавил: — Потому и возвратился.

Полковник терпеливо рассказал ему о новой, советской Руси, о ее поэтах, затем позвонил, вызвал фотографа и начальника вещевого отдела. Фотографа попросил, кивнув в сторону Рогова:

— Сфотографируйте его в этом виде...

Обращаясь к Пете, Зорин добавил:

— Фотография ваша будет лежать у меня в столе, на выпускном вечере через пять лет я ее вам отдам. А вас, товарищ капитан, — обратился он к начальнику ОВС, — попрошу выдать воспитаннику Рогову новое обмундирование, лохмотья же сохраните: я возвращу их ему, если он вздумает снова бежать. Перед этим прямо ко мне тогда приходите, — кивнул полковник Пете, — задерживать не стану.

Как-то Зорин застал врасплох у дверей класса мальчишку лет двенадцати. Слюнявя чернильный карандаш, он крупными буквами писал бранное слово. Полковник подошел вплотную к вытянувшемуся юнцу, потребовал:

— Прочтите громко!

Тот багрово покраснел, прошептал едва слышно:

— Это стыдно...

— А писать для товарищей, для офицеров — не стыдно? Читайте!

Мальчик с отчаянием смотрел на Зорина, ясно было, что он не в состоянии прочесть.

— Немедленно сотрите и никогда не пишите таких слов...

Зорин умел сразу располагать к себе людей: нервозных — успокаивать, флегматиков — подбадривать и подстегивать.

Как-то само собой получилось, что к нему приходили поделиться горем и радостью, за советом и помощью, рассказать об удаче или промахе, о новой мысли или новом деле. Он часто бывал на уроках, и замечания его говорили о тонкой наблюдательности и глубоком уме.

Возможно, привлекало к Зорину то, что он умел просто, с искренней заинтересованностью вникать в дела, казалось бы, иногда очень далеко отстоящие от него, превращать эти дела в свои и помогать не навязчиво, не начальственно, а по-товарищески. Поэтому и любили офицеры встретиться с этим высоким седоволосым человеком, пожать руку, запросто поговорить, а воспитанники безбоязненно обращались к нему с любыми вопросами и старались приветствовать как можно рьянее. Ему прощали

беспощадную прямолинейность и некоторую резковатость. Недели через две после моего водворения в училище полковник Зорин, встретив меня как-то в коридоре, спросил, приветливо глядя из-под широких бровей:

— Ну как, осмотрелись?

— Да, как будто, товарищ полковник... — ответил я.

— Не стану надоедать нравоучительными советами, но один добрый дам: вам придется столкнуться у нас с двумя, так сказать, крайними «педагогическими течениями» — сторонниками только поглаживания да уговаривания...

«Островский!» — подумал я и решительно сказал:

— Думаю предъявить полную меру требовательности.

— Хорошо, но не перехлестывайте, — предостерегающе сказал Зорин, — иначе впадете в иную крайность, механически будете переносить к нам порядки линейных частей. Строгость наша должна быть прежде всего отцовской. Ближе к детям будьте!

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Учителя математики — Семена Герасимовича Гаршева — ребята между собой звали «Архимедом» и очень любили его.

Подвижной, энергичный, он и в шестьдесят пять лет сохранил юность души, чистой и увлекающей. Вьющаяся борода, пожалуй, и вправду делала его похожим на Архимеда, каким обычно изображают великого грека в школьных учебниках истории, но пенсне, сдавливавшее тоненький, острый нос, нарушало это сходство.

О Гаршeve рассказывают, что застигнутый немецким нашествием в родном городе, он, ни минуты не колеблясь, предоставил свою квартиру партизанам и многие из них нашли у него приют.

Трудно было представить Гаршева бездеятельным. Он вечно куда-то спешил, что-то опровергал, искал, с кем-то спорил. И не потому, что хотел поучать людей или считал себя умнее их, а просто первой потребностью его натуры было все улучшать, во всем отстаивать справедливость.

Войдя сегодня утром в учительскую, математик раздраженно потеребил бороду и сердито вложил журнал в прорез стойки.

— Это порочная, антипедагогическая практика, я буду говорить о ней на педсовете! — пригрозил он кому-то

и, раскуривая папиросу, потушил спичку так, словно стряхнул термометр.

Увидев меня, Гаршев сел рядом.

— Понимаете, поставил я четыре дня назад воспитаннику Говоркову двойку. На следующий день воспитатель подходит ко мне: «Семен Герасимович, не сможете ли вы на этом уроке вызвать Говоркова, он вчера всю самоподготовку математикой занимался». — «Не сомневаюсь, что занимался, — отвечаю, — но сожалею, что только математикой. Если бы Говорков всегда честно готовил мой предмет, ему и тридцати минут хватило бы. А спрошу я все же Говоркова, уважаемый Тимофей Федорович, лишь тогда, когда сочту нужным».

Сигнал известил об окончании перемены, и Гаршев, взяв журнал, направился в класс. Я попросил разрешения пойти к нему на урок и, войдя с ним в класс, устроился на задней парте.

Урок математики шел в бодром темпе.

Гаршев, с увлечением записывая на доске цифры, остановился на секунду, поднял вверх палец в мелу:

— Вам понятна эта закономерность... — у Семена Герасимовича была привычка не заканчивать некоторые слова, и класс, зная это, с готовностью поспешил на помощь:

— ...мерность!

— Какой вывод делаем мы из сказанного? — И громко, торжественно воскликнул: — Мы раскрываем новые приемы математического доказательства! Нужно всегда искать свой и лучший способ решения... — Советская наука отличается пытливостью и смелостью, она всегда смотрит вперед... Помните, я рассказывал вам о наших математиках-лауреатах... — он сделал небольшую паузу и хитро улыбнулся. — А вот сейчас я дам пример, который выявит, развита ли у вас математическая интуиция. Пожалуйста, Пашков!

Геннадий, расправив гимнастерку вокруг ремня, вышел к доске, довольно улыбаясь. Он быстро написал ответ, правильно ведя нить рассуждений и стараясь подражать учителю.

— Установим закономерность... А теперь пойдем обратным путем, — синие глаза его азартно разгорелись.

Семен Герасимович любовно поглядел на Пашкова и проникновенно, даже с некоторой патетикой, сказал, выставляя чуть вперед вьющуюся бороду:

— Решить задачу — значит сделать маленькое открытие. Запомните это!

Володя Ковалев делал вид, что внимательно следит за доской. В действительности, мысли его были далеки от математики.

— Воспитанник Ковалев Владимир, идите к доске, — неожиданно раздался голос учителя. — Я вам предложу аналогичный пример.

Володя начал писать, напутал, торопливо стер написанное, сбиваясь и нервничая, опять написал, но еще хуже прежнего.

— Кто же так записывает? — спросил Гаршев, подойдя почти вплотную к нему. Чувствовалось, что преподаватель начинал сердиться. — Разве вы надеваете навыворот гимнастерку? Ведь мы эту теорему только что разобрали. Я слышал, вы хотите быть летчиком? При таком отношении к математике вряд ли можно стать хорошим пилотом.

Володя, нахмурившись, молчал. Он, наверно, прекрасно понимал, что Семен Герасимович прав, но какой-то бес раздражения и упрямства заставлял его глядеть на учителя исподлобья с обидной усмешкой.

— Кем вы будете, когда вырастаете? — спросил Гаршев, не замечая ни этой усмешки, ни взбудораженности Ковалева.

— Это не имеет никакого отношения к уроку! — вздернул головой Ковалев.

— Да как... да как вы смеете мне так отвечать?! — задохнулся от возмущения Семен Герасимович. Но Володя уже закусил удила. Раздувая ноздри, отчего лицо приняло неприятное выражение, он вызывающе выкрикнул:

— Я свободный человек и могу говорить все, что хочу!

— Вы... вы... невоспитанный человек! — гневно бросил математик. — Я вами очень недоволен. Садитесь!

ВОСПИТАННИК КОВАЛЕВ

За обедом Володя Ковалев сидел между Пашковым и Семеном Гербовым. Ковалев был рассеян, хмуро сводил на переносице густые брови, ел без всякого аппетита. За грубость Семену Герасимовичу командир роты лишил Ковалева на две недели права получать увольнительные в город. На лице мальчика ясно можно было про-

читать: «Не мог придумать ничего умнее!». Пашков, иронически ухмыляясь, чем-то донимал Володю. Геннадий любил подтрунивать над товарищами, найти уязвимое место и покалывать намеками, не из чувства недоброжелательства даже, а просто ради удовольствия проявить лишний раз свое остроумие. Сейчас он избрал мишенью Володю Ковалева. Тот молчал и лишь поглядывал на Пашкова недобрый, предостерегающим взглядом.

Позже я узнал, в чем дело. В воскресенье, после кино, Володя решил описать в своем дневнике новогодний вечер. В классе было тихо. Все разошлись: кто в читальный зал, кто в столярную мастерскую или на каток. Только Геннадий Пашков, прижав ладонями маленькие толстые уши, читал какую-то книгу. Володя раскрыл заветную тетрадь и, не останавливаясь, залпом описал все: вечер, новое знакомство, снежную улицу, разговор с Галинкой, возвращение домой в училище. «Как хорошо было бы иметь такого чуткого друга, как она». Володя кончил запись. На сердце было особенно хорошо: хотелось рассказать кому-нибудь, как замечательно жить на свете.

И хотя между Володей и Геннадием не существовало близкой дружбы, но желание поделиться своими мыслями было столь велико, что Володя подсел к Пашкову и доверчиво пододвинул ему дневник:

— Хочешь, прочитай... Только, понимаешь, между нами...

Но все это стало мне известно гораздо позже.

Сейчас, когда Пашков стал остерить, Володя гневно смотрел на него, словно спрашивал: «Неужели посмеешь?»

— У тебя недурной вкус, — насмешливо заявил Пашков.

Сузив глаза, Ковалев медленно сказал:

— Вот как ты ценишь доверие!

Но Пашков настолько увлекся, что не почувствовал опасности в голосе Ковалева и с издевкой бросил:

— О дружбе мечтаете? Знаем мы этих друзей! Ах, заснеженная улица, ах, калитка у дома!

Володя вскочил настолько стремительно, что стул с грохотом упал, и, ударив Пашкова, выбежал из столовой.

— Воспитанник Ковалев! — успел я только крикнуть ему вслед, но Ковалев уже исчез. — В чем дело? — обратился я к Пашкову, не поняв, что произошло.

— Личный разговор, — смущенно заерзал Гённадий и уткнулся в тарелку.

Перед самоподготовкой я вызвал Володю для объяснения. В ротной канцелярии, кроме меня, никого не было. Где-то далеко играл оркестр приглушенно и неуверенно, словно нащупывал мелодию.

Когда вошел Ковалев, я не сразу отложил в сторону газету.

— Что у вас за ссора с Пашковым? — спросил я наконец Ковалева, посмотрев на него в упор.

— Это мое личное дело! — грубо ответил Володя, став в полуоборот ко мне.

— Станьте как следует! — резко приказал я. — Честь училища — наше общее дело. Вы что, хотите воскресить бурсацкие нравы?

— Но он болтун, не достойный доверия! — воскликнул Ковалев.

— Мы сейчас говорим не о Пашкове, а о вас. Нечего сказать, хорошо вы защищаете честь суворовского имени... Что о вас скажут малыши?

Володя молчал, хмурясь и покусывая губы. И вдруг, опустив голову, тихо сказал:

— Я виноват. Я сам не понимаю, что со мною происходит, — сказал и осекся. Было мгновение, когда он, кажется, хотел поведать мне причину ссоры, но, вероятно, официальность моего тона не расположила к откровенности.

Нарушив тягостное молчание, я сухо бросил:

— Вы будете строго наказаны. Идите!

После ужина я со своим помощником старшиной Вла-сенко вошел в класс. Все встали.

— Отделение смирно! Воспитанник Ковалев Влади-мир, ко мне! — приказал я.

Володя подошел и безразлично стал глядеть поверх моей головы.

— Вы, воспитанник Ковалев, забыли, что живете в социалистическом обществе. Вы нарушили святой для нас закон уважения к человеку, — отчеканивая каждое слово, говорил я. — За подрыв воинской дисциплины арестовываю вас на сутки. Снимите ремень!

Ковалев, верно, ждал нотации, выговора, но не этого. Он не сказал обычное «слушаюсь». Замедленными движениями, словно ему приходилось преодолевать

плотность воздуха, Володя снял ремень и положил его на стол.

— Я сам виноват, — рванулся вперед Геннадий, но я остановил его суровым взглядом.

— Товарищ старшина, исполняйте приказание.

При гробовом молчании отделения Ковалев вышел, сопровождаемый старшиной.

Прав ли я? Уверен, что прав. Нужно было решительно предупредить возможное повторение таких проступков. Позже можно опереться на комсомол, но сейчас этой опоры еще нет: комсомольская организация только зарождается.

Однако почему скверное настроение не оставляет меня весь день? Наверно, от неудовлетворенности собой, от мысли, что не сделал почти ничего, чтобы сплотить коллектив. С чего же начать? Очевидно, с общих дел, пробуждающих общие интересы. Пусть на первых порах эти дела незначительны, но они помогут протянуть начальные нити дружбы. Будем выпускать «Боевой листок», установим график дежурств. Вместе пойдем в госпиталь, организуем субботник. Необходимо устраивать шахматные турниры, прогулки, организовать хоккейную команду и драмкружок. Дела хватит всем. Ребята должны научиться с гордостью говорить «Наше отделение». А почему у них так много троек? Надо достать все программы и учебники для восьмого класса... Вести дневник наблюдений. Ну, начать хотя бы с того же Ковалева:

«Год рождения 1929. Отец — лейтенант, Герой Советского Союза, получил тяжелые ожоги в воздушном бою, умер в госпитале в 1943 году. Мать — Антонина Васильевна Ковалева — работает воспитательницей в детском саду, г. Тбилиси, Мостовая № 17».

Этими сведениями исчерпываются все мои знания прошлой жизни Володи. Но, что еще хуже: я почти ничего не могу записать о нем как о воспитаннике Суворовского училища. Ну, вспыльчив, ну, дерзок. А почему? Какие у него интересы и сомнения? О чем мечтает? Прямолинеен до грубости, оскорбил математика, ударил в столовой товарища, в разговоре со мной дерзил. И все-таки этот мальчишка мне нравится. Может быть, потому, что говорит прямо то, что думает, и не заискивает ни перед кем. Чувствую в его характере силу. Пусть задира, но с открытой душой и сердцем...

С чего же начать перевоспитание? Не знаю, не знаю. Припомнился мне сейчас недоброй памяти преподаватель педагогики в институте. Это был нестарый, вечно небритый, неряшливо одетый человек, с невыразительным голосом и легковесной фамилией — Гулькин.

На лекциях он бесстрастно вычитывал из потрепанной тетрадки сведения о взглядах разных лжепророков педагогической науки, заслуженно предавал их анафеме, но ни о каком «проникновении в мир ребенка», ни о каких «практических навыках» никогда не говорил.

И вообще за четыре года учебы в институте никто ни разу не говорил с будущими преподавателями о деталях воспитательного процесса. Как беседовать с учеником один на один? Каковы пределы «допусков» педагогического гнева? Как учителю владеть жестом, взглядом, голосом, нервами, мимикой, контролировать волю, подчинять ей детей? Как преодолевать неписаный закон «сопротивления личности», в силу которого одного ребенка возьмешь только обходным движением, другого лишь лобовым штурмом.

Другими словами, никто не говорил о тех тысячах решающих «бесконечно малых величинах» профессии, о которых лучше всего мог бы рассказать студентам учитель, проработавший в школе много лет, знающий, как вмешиваться в «движение характера», направлять это движение.

На кафедре педагогики в нашем институте, видно, предполагалось, что все это «само придет» к учителю, как умение плавать — к человеку, брошенному в воду. Над тем же, что молодые учителя будут долго и мучительно искать правильных путей, неэкономно тратить энергию, открывая давно открытое, вряд ли серьезно задумывались.

Хирурга учат делать операцию, архитектора строить дома, нас же, кто призван был производить операции посложнее хирургических, начинали общими фразами о пользе педагогики.

...Старшина рассказал мне, что перед обедом в спальне нашей роты было шумно. По окончании уроков Ковалева опять отправили под арест. Сутки ареста заканчивались в 21.00. Ко вчерашнему событию воспитанники отнеслись по-разному, но большинство сходилось во мнении: капи-

тан уж больно крут. Сначала, после происшествия, ожидали Ковалева, теперь же многие склонны были видеть во всем лишь проявление моего деспотизма.

— Не вникнул — и рубанул, — осуждающе сказал Семен Гербов, — по уставу правильно, а человечности нет.

— Но если каждый начнет кулаки в ход пускать... — возразил Андрей Сурков. — А все же напрасно Ковалю посадили, — посочувствовал и он.

— Надо ему в карцер котлеты с хлебом передать, — предложил Гербов. И они, собрав двенадцать с половиной котлет, переслали их «жертве несправедливости».

Через несколько дней после происшествия в столовой, подходя утром к дверям спальни, я услышал громкий, возбужденный спор. Голос Лыкова настойчиво требовал:

— Заправь койку лучше!

— Она и без того хорошо заправлена, — запальчиво возражал кто-то.

— А я как дежурный по спальне говорю...

— А я чихать хотел...

Я решительно вошел в комнату и первое, что увидел, было сердитое, возбужденное лицо Ковалева. Кроме него и Лыкова, в спальне никого не оказалось.

— Что у вас тут произошло?

— Да так... свой разговор, — замылся Лыков.

— Почему ваша койка, воспитанник Ковалев, не в порядке, — обратился я к Володе. Лыков торжествующе посмотрел на товарища.

— А мне кажется... — начал было Ковалев.

— Я не спрашиваю, что вам кажется, — резко обрубал я его. — Заправьте койку как следует.

Ковалев побледнел и не двигался с места.

— Почему вы на меня кричите! — вдруг болезненно выкрикнул он.

— Заправьте койку, — как можно спокойнее повторил я приказание. Ковалев, с трудом отрывая ноги от пола, подошел к своей койке и, словно чужими, одеревенелыми руками, поправил одеяло.

— Ну вот, теперь хорошо, — спокойным тоном сказал я. — Можете идти в класс, но я, очевидно, вынужден буду написать вашей матери не слишком для вас приятное письмо.

Володя хотел что-то сказать, но с отчаянием махнул рукой и выбежал из спальни. Ушел и Лыков. Я постоял

еще несколько минут у окна. Получалось не так, как надо. Может быть, следует подойти к Володе с какой-то другой стороны, а то приказ да окрик, окрик да нотация... а отцовского отношения действительно нет. Строю планы перевоспитания на какой-то ложной основе официальной строгости. Не то! Не то!

Мои рассуждения об особенностях закрытого военного заведения, якобы требующих этой отчужденности, — несостоятельны. Это лазейка, придуманная для оправдания педагогической казенщины. Иное надо... конечно, иное...

На фронте, в минуты тоски, неизбежной у каждого, надолго оторванного от любимых людей и дел, я вспоминал о школе, как о чем-то очень дорогом и далеком.

В кармане гимнастерки носил я полуистлевшее письмо, полученное в армии от 7 класса «б», где до ухода на войну работал руководителем. Под письмом стояло сорок подписей. На фронте я не раз доставал это письмо и, глядя на нетвердые росчерки, вспоминал о каждом из тех, кто подписался. Какой голос... походка... волосы, где сидел в классе. Досадовал, что до войны так мало успел сделать для них, и, конечно, мечтал снова войти в класс. Я не представлял себе другой профессии, кроме педагогической, которая принесла бы мне большее моральное удовлетворение. Но годы пребывания в армии родили любовь к воинской дисциплине с ее требованиями беспрекословного исполнения приказаний и четкости. В умении подчинять и подчиняться была своя красота.

Здесь, в Суворовском училище, удачно удовлетворялись потребность в работе с детьми и желание не расставаться с воинскими порядками. Это было именно «то, что нужно», то к чему лежало у меня сердце.

И если бы спросили меня: «Счастлив ли?» — я, ни минуты не колеблясь, ответил бы: «Да».





ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

НАЧАЛЬНИК УЧИЛИЩА

Генерал Полуэктов появлялся там, где его меньше всего ждали. Худощавая фигура, острые лопатки делали его сзади похожим на юношу. Старость притаилась в складках тонкой шеи да легла желтизной на продолговатые ногти пальцев рук.

Не получив специального педагогического образования, но обладая умом и житейским опытом, Полуэктов глубоко вникал в каждый вопрос, касающийся воспитания детей. В этом деле для него не существовало «мелочей», мимо которых можно бездумно пройти.

Замечанием вскользь, умной иронией генерал добивался большего, чем если бы раздражался и кричал. У него была манера сражать провинившегося негромкой, короткой репликой. Он умел внушить безоговорочное уважение к себе. Подчиненные стремились не за страх, а за совесть сделать все так, чтобы Полуэктов остался доволен и произнес одобрительное неизменное «ну-ну», каждый раз имеющее новый оттенок. Свое «ну-ну» он произносил на десятки ладов — то по-отцовски, добродушно, то словно удивляясь и радуясь, то будто напутствуя и поощряя.

О жизни генерала в училище известно было немного. Знали, что шашка с красиво изогнутым позолоченным

эфесом, которую надевает генерал на парадах, подарена ему самим Буденным и что, приехав на открытие училища, Семен Михайлович обнимал Полуэктова, как старого друга, что до войны генерал был начальником артиллерийского училища, а в Отечественную войну командовал артиллерией армии и, тяжело раненный под Сталинградом, много месяцев пролежал в госпитале.

Знали, что недавно на фронте погибли его сыновья: младший — рядовой и старший — летчик-истребитель, что от старшего на попечении деда остался внучек — шестилетний крепыш Димка, рано лишившийся матери. И совсем нивесть откуда известно было, что генерал вечерами, уложив Димку спать, пишет какой-то учебник; предполагали — военно-педагогический.

Вчера генерал начал свой неожиданный обход в 16.30. Он шел неторопливо, заметно привлакивая ногу. Получилось так, что я сопровождал его. Острый глаз генерала сразу замечал криво привешенную раму портрета, плохо почищенную бляху ремня, измазанную панель в ротной канцелярии. В конюшнях генерал так посмотрел из-под нависших век на загрязненные кормушки лошадей, что широкоплечий, с пышными усами капитан Зинченко звякнул шпорами:

— Будет вычищено.

— Немедленно! — кратко добавил генерал.

В столовой Полуэктов сказал мне:

— Заметьте... Заведующий накрыл столы какими-то простынями. Завтра здесь должны лежать белоснежные скатерти!

Он сделал такой нажим на слове белоснежные, что оно стало зрительно осязаемым, а заведующий торопливо закивал головой.

Когда генерал зашел в санчасть, начальник ее — страдающий одышкой полковник лет пятидесяти, с двойным подбородком и невмещающейся в воротничок шеи — засуетился, насколько позволяла ему его комплекция, кинулся к папке с какими-то диаграммами и таблицами. Полуэктову хорошо было известно пристрастие полковника Райского к бумажкам, к своему уютному врачебному кабинету, старание не обременять себя ходьбой по корпусам училища, и поэтому сейчас, когда Райский пытался показать ему «кривую роста упитанности воспитанников»

и пробубнить цифры, густо склеенные латынью, начальник училища добродушно остановил его:

— Вижу, вижу, — латынь знаете. А вот сколько у вас детей с опущенной лопаткой, знаете? Нет? Вот это уже никуда не годится, не по-отцовски. А вечером в классах света достаточно?

— Так точно!

— Совсем не точно. Недостаточно, товарищ полковник, зрение детям портим!

— Я собирался... — начал было Райский.

— Вот-вот, долго собираетесь... У вас три врача, надо чаще быть в классах, в спальнях... На урок физкультуры пойдите, приглядитесь, какую там нагрузку дают. Кувыркаться на турнике и фокусы показывать можно, да не во вред здоровью. Выйти от нас они должны здоровыми, стройными, гибкими... Чтобы смотреть было радостно... А вы латынью отделяетесь! — сердито закончил он и, надев папаху, вышел, бросив свое обычное: «Ну, ну», в котором звучало и осуждение и приказ действовать.

На втором этаже генерал зашел в методический кабинет. Из-за стола поднялся капитан Васнецов — преподаватель литературы и по совместительству заведующий методическим кабинетом училища.

— Работайте, работайте, — сделал генерал рукой жест, словно усаживал Васнецова. Капитан снова сел, но, следя ревнивым взглядом за генералом, не выдержал, подошел к нему, когда Полуэктов остановился у выставки работ детей.

— Все сделали они сами, — с гордостью сказал Васнецов и погладил рукой модель пушки.

Генерал внимательно рассмотрел коллекцию минералов, рисунки красками и карандашом, средневековый замок из папье-маше, контурную карту Европы, сделанную из глины и размоченного картона, препарированную летучую мышь. Видимо, остался доволен. Одобрительно кивнул Васнецову. Вышел из кабинета.

В классах началась вечерняя подготовка уроков. Полуэктов решил зайти в роту майора Тутукина. Здесь, в отделении Беседы, у малышей не ладилось с русским языком. Генерала встретил докладом капитан Беседа, дежуривший в этот день по роте, и мы все вместе зашли в 4-е отделение. Поздоровавшись и разрешив ребятам сесть, генерал подошел к парте Самсонова.

— А ну-ка, покажите свою тетрадь по русскому языку, — подсел он рядом.

Мальчик порывлся в парте, достал тетрадь. Первая страница была образцово чистой, вторая — погрязнее, третья — еще хуже. Перевернув несколько незаполненных страниц, Полуэктов наткнулся на двустийшие, написанное нетвердым размашистым почерком с загогулинами:

Кол не друг и не чурбак.
Кто получит — тот дурак

А страницей дальше так же залихватски:

Дон течет, течет Донец,
А тетрадке — конец!

И подпись: «Семен Иванович Самсонов, будущий асс». У последней буквы «с» хвост закручивался мертвой петлей. Виновник поэтических упражнений и «будущий» асс доверчиво улыбался от уха до уха.

— Нехорошо, нехорошо, — осуждающе покачал головой генерал, — это ведь бумагомарание... — и неграмотно, — он подчеркнул ошибку в слове «будующий». — Никуда не годится! Ваша фамилия Самсонов?

— Так точно, — встал Сеня.

— Не ожидал от вас, воспитанник Самсонов, такого отношения к учебе. Тетрадь перепишите начисто, — строго приказал он. — Я к вам скоро снова приду и тогда посмотрю ее.

Полуэктов сел за стол преподавателя, слегка притронулся сухощавой рукой к темным, коротко подстриженным усам, обвел испытующим взглядом класс. Он заметил на груди у многих значок — красную картонную звездочку. В центре звездочки старательно выведена чернилами буква «Т». Генерал вопросительно взглянул на меня.

«Что бы это могло значить?» — видимо, подумал он, но не задал вопроса.

Обратившись к сидевшему на первой парте воспитаннику, Полуэктов спросил:

— Вы литературное чтение любите?

— Люблю, — с жаром ответил петушиным голоском маленький Голиков.

— А грамматику?

— Н-нет, — с запинкой произнес малыш, — там трудно правила запомнить, — оправдываясь, облизнул он широкие красные губы и покосился на капитана Беседу.

Круглолицый капитан Беседа, сам чем-то похожий на своих воспитанников, стоял у окна с таким выражением лица, будто хотел сказать: «У вас спрашивают, вы и ответ держите, а мое дело слушать».

— А кто еще не любит грамматику? — словно изумляясь, спросил начальник училища.

Поднялись почти все руки. Генерал с еще большим удивлением в голосе обратился к воспитателю:

— Товарищ капитан, да это отделение русское?

— Русское, — произнес офицер.

— Русское... — негромким хором ответили ребята.

— А что Суворов говорил о русских? — с силой произнес генерал, выжидающе взглянув на Голикова. Тот растерянно молчал, беспокойно пошевеливая шеей в цыплячем пушке. И вдруг, вспомнив, выкрикнул:

— Мы русские, мы все одолеем!

— Ну вот, — обрадовался Полуэктов, — и даже трудный русский язык одолеете!

— Одолеем! — громко ответили все.

— И правила запомните?

— Запомним!

— Посмотрим, посмотрим, — с задором закивал головой генерал. Вот, товарищ капитан, будьте свидетелем, — обратился он ко мне, — суворовцы обещали не получать плохих оценок по русскому языку и этим помочь родине в подготовке грамотных офицеров. Я через две недели приду — проверю, настоящее ли у них слово...

Когда мы были уже в коридоре, генерал спросил:

— Вы заметили букву «Т» у них на груди? Что бы это значило?

— Это, товарищ генерал, значит «Мы — тутукинцы», — объяснил я, — Беседа как-то мне об этом рассказывал.

— Вот оно что, — улыбнулся Полуэктов, — они избрали неплохой пример.

Малыши не просто называли себя тутукинцами: они любили ротного командира, безошибочно чувствуя за его внешней строгостью отцовскую заботу. Особенно же нравилось им, как зычно докладывает майор начальнику училища, и еще то, что майор Тутукин маленького роста. Ребята надеялись, что, став офицерами, сделаются точно такими — упругими, быстрыми, сияющими; для тех же, кто опасался, что не подрастет, маленький Тутукин был

утешительным примером, некоторой гарантией будущего.

Мы спустились в вестибюль. Генерал вызвал машину. Сказал, что поедет домой немного отдохнуть.

В два часа ночи он приехал снова — проверять, как несут ночную службу.

РАПОРТ ГЕНЕРАЛУ

Сегодня я был свидетелем тяжелого воинского ритуала — снимали погоны с провинившегося воспитанника Артема Каменюки из отделения Алексея Николаевича Беседы (5-я рота).

Но сначала о самом Алексее Николаевиче.

Часто, рассказывая о своей жизни, он вдруг, как бы прерывая самого себя, виновато говорит:

— А на фронт не пришлось попасть...

Это — его больное место. С первого дня войны он писал начальству рапорт за рапортом, мучился и стыдился, что «такой битюг, а отсиживается в тылу» — сначала в пехотном училище, а потом вот в Суворовском. Но его никуда не отправляли, не отпускали, сообразуясь с интересами дела, и капитан завидовал фронтовикам, считая себя горьким неудачником и неоплатным должником. Сколько бы он ни работал, а работал он очень много, ему казалось это недостаточным, ничтожным сравнительно с тем, что делали сейчас для родины советские люди на фронте.

Временами Беседе казалось, что воспитанники думают о нем пренебрежительно, потому что нет у него орденов.

[В действительности воспитанники любили его, как только могут любить дети человека справедливого, честного и веселого нрава.]

Я рассказал Беседе о случае с Ковалевым.

— А за что он ударил Пашкова? — заинтересованно спросил Беседа.

Я впервые подумал, что, собственно, не знаю как следует, в чем дело.

— Да за что бы ни было! Ковалев затеял драку — и этим все исчерпывается.

— Вам, конечно, виднее, — деликатно согласился Беседа. — А у меня, знаете, тоже есть трудный, только в другом роде. Каменюка Артем — воришка с немалым стажем...

— Как так? — удивился я, невольно почувствовав облегчение оттого, что разговор перешел на другую тему.

— Да так... Немцы его родителей повесили... Отец Каменюки — учитель физики, радиоприемник сделал, сводки наши принимал, переписывал их от руки, а мать распространяла. Вот Артем и осиротел в 11 лет. Остался он на попечении соседей. А те дрянь-людишки оказались, помогли мальчонке родительское добро по ветру пустить, а потом воровать научили, водку пить научили. Однажды напоили, он где-то с вечера и свалился под забором. А дело глубокой осенью было. Тяжело заболел: ноги отнялись. Хорошо, что скоро наши пришли, положили Каменюку в больницу. Выздоровел и узнал от кого-то, что Суворовские училища открылись. Так верите ли, к секретарю обкома собственной персоной явился: «Дяденька, говорит, пошлите в Суворовское». Так и попал к нам. Сначала все шло хорошо, а потом все же стали проявляться воровские навыки. Беда! Обратите внимание, какие у него глаза нехорошие — недоверчивые, слишком искушенные, видевшие много такого, чего им не надо было видеть. Очень нехорошие глаза! Я на них смотреть не могу спокойно; так и хочется вымыть, чтобы снова проглянула детская прозрачность...

Каменюка действительно доставлял Алексею Николаевичу больше хлопот, чем все остальные ребята отделения, взятые вместе. Артем имел свои собственные представления о том, что хорошо и что плохо, свой юридический кодекс, свои понятия о красоте и чести.

Красивым, например, он считал чуть сдвинуть набекрень фуражку, брюки заправить в сапоги и немного вытянуть их внапуск на голенища, ремень доотказа сдвинуть вниз на живот. Как никто другой, умел он быстро сгонять с лица улыбку задиры и заменять ее выражением невинности.

Каменюка часто обижал младших и более слабых, но заступался за них, когда видел, что их обижают другие.

Удачное вымогательство он считал отнюдь не зазорным делом, а особым видом молодечества.

У Каменюки, несомненно, есть и хорошие качества, но Алексею Николаевичу он причиняет главным образом неприятности.

Был, например, такой случай:

Приходит к Беседе воспитатель Волгин из четвертой роты и говорит возмущенно:

— Ваш Каменюка выманивает пончики у моего Гречушкина!

Выяснилось, что Артем за сделанную Гречушкину рогатку взял плату пончиками (их давали на второй завтрак к кофе). Потом исчез альбом с марками у воспитанников второй роты. Следы привели в отделение Беседы. Алексей Николаевич вошел в класс мрачнее тучи. Никогда его еще не видели таким гневным.

— На наше отделение ложится пятно позора, — глухо произнес капитан. — Через пять минут альбом должен лежать на столе, иначе я откажусь от вас, — он резко повернулся и вышел.

Когда Беседа возвратился, красный альбом лежал на столе, а Каменюка, не смея поднять глаз, делал вид, что стирает пальцем чернильное пятно с парты.

Ильюша Кошелев встал и сказал с запинкой:

— Товарищ капитан, альбом случайно у нас в отделении очутился... Только мы вас просим: не спрашивайте, кто его к нам принес.

— Я и не собираюсь спрашивать, — сухо ответил капитан, — будем считать эту историю тяжелой ошибкой. Старший воспитанник Голиков, вы сейчас же отнесите альбом во вторую роту, отдадите его владельцу и извинитесь от имени всего нашего отделения и от моего имени.

В классе стояла унылая тишина.

— Слушаюсь! — подавленно ответил Голиков и шагнул к столу.

Но скоро у Каменюки появились в отделении последователи.

Подражая Каменюке, некоторые ребята начали курить, грубить учителям, самовольничать. Отделение явно портилось. Даже благовоспитанный Дадико Мамуашвили стал терять свою репутацию непогрешимого и химическим карандашом написал на руке ругательство. Авилкин и Прошкин, предводимые Артемом, забрались в комнату старшины роты, которого невзлюбили за строгость, распотрошили его подушку, разбросали из нее перья по всей комнате, а Каменюка навязал на простыне старшины морские узлы — «сухари». Каменюка становился опасным для всей роты.

Решили испытать жестокое, но сильное средство. Пятая рота была выстроена в зале. Майор Тутукин вызвал Каменюку из строя к себе, в центр четырехугольника, составленного из рядов воспитанников в черных гимнастерках, окаймленного ровной линией алых погон. Артем, ухмыляясь, пошел к майору, при каждом шаге выдвигая вперед то одно, то другое плечо. Я стоял в строю и думал: «Настолько ли развито у тринадцатилетнего мальчика чувство чести, чтобы на него могло произвести должное впечатление лишение погон?»

— Смирно! — обращаясь к строю, скомандовал Тутукин и громко, отчеканивая каждое слово, прочитал приказ генерала: — «За нарушение воинской дисциплины... забвение чести... снять с воспитанника Каменюки Артема на две недели погоны... Две недели Каменюке ходить позади строя, в трех шагах от левофлангового. Приказ прочитать во всех ротках...»

В зале наступила гробовая тишина. Замерли ряды. Суровы лица офицеров. Побледнел, но еще храбрился Каменюка.

Майор передал старшине ножницы:

— Снимите погоны с воспитанника Каменюки...

Старшина сделал шаг к Артему. Тот невольно попятился. Майор подошел вплотную, протянул руку к плечу Артема и быстрым, властным движением, так что все отчетливо услышали лязг ножниц, срезал погоны. Каменюка сразу обмяк, низко опустил голову.

— Вольно, разойдись! — разрешил майор, но за этой командой не последовали обычный шум и веселая кутерьма.

Ребята расходились мрачные, собирались группками, перебрасывались негромкими фразами. Каменюку окружили его друзья.

Он отчаянным напряжением воли пытался бравировать, по-особому оттопырив нижнюю губу, сплюнул сквозь зубы. Друзья стали утешать, отводя глаза от его плеч. И тут Каменюка не выдержал. Лицо его свела судорога, и, оттолкнув тех, кто ближе стоял к нему, он пустился бежать. Забившись в угол шинельной, Артем по-детски расплакался. Когда же его вызвал к себе начальник политотдела Зорин, мальчик дал ему слово изменить поведение.

...Алексей Николаевич переживает сейчас тяжелые дни. Он считает, что во имя спасения отделения следует немедленно освободиться от Артема.

Когда я сказал ему, что, по-моему, все же Артема можно перевоспитать, он горестно воскликнул:

— Перевоспитать! Но разве я не подвергаю опасности все отделение, оставляя в нем такого Каменюку? Разве гуманность состоит в том, чтобы из жалости к одному приносить в жертву интересы двадцати трех? Ну хорошо, самая передовая, самая гуманная, советская, педагогика призывает настойчиво, любовно и самоотверженно преодолевать пережитки капитализма в сознании людей. Трудом в коллективе исправляют, казалось бы, неисправимых. Но если все испробовано, а результаты неудовлетворительны — что делать тогда? Не требуют ли принципы этой же гуманности и передовой педагогики спасти коллектив от разлагающего влияния одиночки?

— Да, но все ли сделано? — протестовал я и хотел было сказать: «И не ты ли виноват, что не сумел двадцать три человека сделать сильнее одного, не сумел перевоспитать тринадцатилетнего мальчишку», — хотел было сказать, но не сказал, потому что хорошо понимал, какие трудности стоят перед капитаном Беседой.

— Все, все сделано, — твердил Беседа. — Мы пытались ему помочь, мы испробовали все, что могли, и не вина наша, а горе, что не сумели добиться успеха. Разве мало говорил я с ним, журил и наказывал, убеждал и требовал? Довольно! Всему есть предел, и портить отделение я никому не позволю.

Он написал рапорт генералу о том, что интересы воспитания отделения в целом и даже роты требуют исключения Каменюки из училища. Возможные в наших условиях меры воздействия на него исчерпаны. Каменюка совершенно аморален. Все худшее, чем наделяет улица беспризорных, настолько вошло в его характер, что воспитатель бессилен противодействовать Каменюке. Дурное влияние мальчика распространяется на весь коллектив. Каменюку нужно перевоспитать трудом. Пусть станет хорошим слесарем или электромонтером... И прочее и прочее...

Но сердце Беседы, сердце воспитателя — не спокойно. В глубине души он, конечно, понимает, что расписался в собственном бессилии.

В ПОИСКАХ ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ

Я задержался до поздней ночи в роте. Решил заночевать в училище. Но не спалось, и я пошел разыскивать Алексея Николаевича — он дежурил у себя.

Беседа сидел за столом майора Тутукина и рассматривал «семейный» фотоальбом роты.

Вот Павлик Авилкин в матросочке устроился на коленях у мамы, вот двухлетний Самсонов, такой же белесый, как и сейчас. Военный со шпалой на петлицах — погибший отец Гурыбы. Отдельной группой, в форме суворовцев — Илюша, Дадико, Кирилл и старшина роты.

Опять — мамы и сестры, «досуворовские» друзья из детского сада, отцы в пилотках, красноармейских шинелях с орденами и нашивками ранений.

Прислал недавно сыну свою фотографию полковник Голиков, а рядом его же карточка, только с лейтенантскими кубиками.

Многие портреты обведены траурной рамкой.

Беседа молча протянул мне альбом. По обыкновению долго набивал трубку.

— В прошлом году, — сказал он, казалось бы, безотнositельно к этому альбому, но я понял, что это продолжается разговор с собой, — приезжал отец Голикова, сочувственно качал головой, видя, как нянчимся мы с ребятами. «За какие грехи вы наказаны?», говорит. Да ведь не пойдешь объяснять, что любишь это дело, хотя трудно. И когда пред сном, укрывая того же Сеньку Самсонова, вдруг почувствуешь, что он на мгновение прижался щекой к руке, — не нужно больше никаких наград за труд, никаких похвал и благодарностей.

Первое время остро тосковали малыши по материнскому вниманию, нехватало им ласки. Разве на сто сыновей отпустишь ласки столько же, сколько на одного-двух дома?

Захожу однажды утром в спальню — старшина белье чистое ребятам раздает. Вдруг Максим Гурыба бросился на койку, лицо в подушку уткнул, в руках у него белоснежная нижняя рубашка — рыдает.

— Что с тобой? — удивленно спрашиваю.

Еще сильнее плачет.

— Да что с тобой?

— Пу-пу-говица, — с трудом проталкивает сквозь плач Максим.

— Какая пуговица? — встревоженно поднял я его за плечи.

— Нет одной пуговицы!

— Так почему же ты так плачешь?

— Если бы мама... рубашку дала... все бы пуговицы были...

Ну, пришили пуговицу, успокоили, объяснили, что военный человек сам должен уметь пуговицу пришить.

Беседа улыбнулся, вспоминая этот случай.

— Вот поди же ты, разберись. А какими путями должно идти их воинское воспитание?

Алексей Николаевич, видно, расположен был поговорить, наболело на душе.

— Ведь наряду с качествами, присущими всем вообще детям пионерского возраста, мы должны еще привить нашим воспитанникам и особые качества, присущие только юным армейцам, людям военным, — понятие о чести мундира, святости знамени, строя, умение беспрекословно выполнить самый трудный приказ. Но как всего этого достичь? Личным примером офицера, «характером воспитывать характер»? Это важный, но далеко не исчерпывающий способ. Нравоучения, беседы? В меру тоже нужны, но и они не составляют главной основы методики воинского воспитания. А она есть! Ее создавали наши великие полководцы: Суворов, Кутузов. Новые законы открывали в ней наши славные современники: Чалаев, Фрунзе. Ее необычайно обогатил Сталинский гений, опыт Великой Отечественной войны. И наверняка есть люди поумнее меня, которые сумели овладеть трудной наукой воинского воспитания во всей ее полноте.

Беседа сердито попыхал трубкой, встал из-за стола, прошелся по комнате несколько раз из угла в угол, снова сел в кресло и, подперев подбородок ладонью, начал говорить, немного сердясь, так, словно я ему противоречил.

— Как воспитывать, например, храбрость? Трепетного кролика превратить в львенка? Самсонов боится темноты... что бы вы мне посоветовали делать? Знаю, знаю—

«в каждом отдельном случае»... Так вот я возможно чаще ставлю его в условия, при которых он мог бы преодолеть этот страх: то пошлю вечером во двор «узнать, какая погода», то в темную комнату за якобы забытой вещью. Подсовываю ему книгу о детях-героях или, смеясь, рассказываю о пушкинском «Вурдалаке». Максим боялся высоты... Как побороть этот страх? Невзначай показываю ему картину — солдаты Суворова перебегают по «Чертову мосту»; во время игры прыгну в яму и зову: «Максим, на помощь! Прыгай ко мне!», или прошу во дворе: «Достань мне с дерева во-о-он ту веточку. Нет, не эту, а вон, что повыше»... Такова техника воспитания храбрости или это кустарщина? А разве нет методики воспитания честности, долга, стойкости, упорства, неужели каждый должен полагаться на «интуицию», на педагогическую «божью искру» и прочие отговорочки, стыдливо прикрывающие незнание технологии воспитания? Или вот вы говорите «заботливо выращивать военные традиции».

Я хотя этого не говорил, но помалкивал, с любопытством слушая Алексея Николаевича.

— Но ведь не значит это, что традиции следует только насаждать сверху? — Уверен — дети сами должны участвовать в создании их, увлекаться ими, оберегать, как деревца, посаженные собственной рукой. И тогда традиция превратится в лучшее украшение жизни коллектива. Я разделяю неприязнь педагогической мысли к силлогистике, из которой якобы следует, что если какая-то мера помогла ученику А, и если ученик Б совершил точно такой поступок, как А, то и к Б надо применить ту же меру, что и к А. Трафарет пригоден при выточке коленчатого вала, но нетерпим в педагогике. Но ведь есть тысячи раз повторяющиеся одни и те же приемы воспитания, приносящие удачи. Так дайте же нам, товарищи генералы педагогической мысли, этот обобщенный опыт, мы будем им пользоваться, как инженер пользуется справочником, внося коррективы и дополнения.

Пусть методика воспитания, составленная вами, окажется еще несовершенной, но от нее полшага к науке и законам.

Очень хотелось еще послушать расходившегося Алексея Николаевича, но пора было подниматься в свою роту... Начиналось утро.

УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Утро начинается так — труба неумолимо настаивает:

— Подъе-е-м! Подъе-е-м!

Ребята торопливо вскакивают с постелей. Илюша Кошелев продолжает спать. Ему всего одиннадцать лет, к режиму училища он привык легко, с первых же недель. Ему нравилось повторять приказания офицера, громко отдавать рапорт в дни дежурств, прощаясь с учителем, скандировать весело:

— Сча-стливого пути, товарищ преподаватель!..

Но сразу вскакивать утром по зычному зову трубы и бежать на зарядку было для него тяжелым испытанием. Когда голос старшины раздался прямо над головой, Илюша отчаянным жестом отбросил одеяло и, сев на койке, стал усиленно тереть сами собой склеивающиеся ресницы.

Маленький, круглолицый, с крупными оттопыренными ушами (какие мамы называют лопушками), он очень походил на степного тушканчика, вынырнувшего на зорьке из норы.

— Воспитанник Кошелев, — строго говорит старшина, — вы задерживаете всю роту...

— Я сейчас, — виновато моргает Илюша и окончательно просыпается.

Со двора доносятся звуки марша: оркестр торопит выходить на прогулку. Мороз пощипывает лицо. Еще совсем серо, почти темно. Свет электрических фонарей с трудом пробивает предутреннюю мглу. Оркестр играет что-то веселое.

Зарядка стряхивает с Кошелева остаток сонливости. Он возвращается в спальню, заправляет по-армейски койку и любит ее, отступив немного назад.

В коридорах бытового корпуса пахнет свежевывытым полом, сыроватой глиной затопленных печей и едва ощутимо — сапожной мазью.

В длинных брюках с алыми лампасами, в белой натальной рубашке, Кошелев торопливой трусцой пробегает в туалетную комнату почистить ботинки.

Здесь, в стороне от подставки для чистки ботинок, Павлик Авилкин и Максим Гурыба натирают мелом пуговицы гимнастерок — Максим прямо на себе, а Павлик,

сняв гимнастерку, продвигает пуговицу в дощечку, на которой сделана прорезь, формой похожая на ключ с круглой головкой.

В круглое отверстие Авилкин проталкивает пуговицы, проводит их по тонкому каналу прорези и щедро натирает мелом, поплеывая на щетку. Дощечка предохраняет гимнастерку от мела.

— Здорово, Кошель!

— Трудишься, Авилка?

— Видал, как блещут?

Пуговицы сияют, но Авилкин трет их, пока они не становятся горячими.

Илюша навел глянец на ботинки, дружески ткнул Максима деревяшкой щетки под ребро, получил сам щелчок, и, пританцовывая, побежал в умывальную.

Там он снял рубашку, проворно схватил с общей длинной полки свою мыльницу, жестяную коробку с зубным порошком и протиснулся между товарищами к умывальнику с медными «сосульками».

Обвязав полотенце вокруг пояса, Илюша ожесточенно, со звяканьем подбрасывает ладонью вверх «сосульку», по которой стекает в пригоршни холодная вода.

Он фыркает, растирая тело, выгибается, стараясь забросить ладонь подальше к лопатке.

Кончив умываться, Кошелев надевает гимнастерку с алыми погонами, туго перехватывает ее ремнем с огромной бляхой, похожей на матросскую (только на этой — пятиконечная звезда) и спешит в ротную комнату отдыха. Там уже строятся воспитанники.

Светает, когда ребята младшей роты входят в столовую и, выжидаяще остановившись у стола, поглядывают на дверь. Ага, вот, наконец, и воспитанники первой роты, они заняли свои места. Капитан Беседа выдержал небольшую паузу и разрешил младшим:

— Садитесь!

Малыши шумно задвигали стульями, начали озабоченно подтыкать салфетки за воротники.

Из столовой первыми уходят старшие. Младшие стоя провожают их. Иной порядок показался бы странным.

Так начинается утро...

А вечером, в 21.15 по этажам, поротно, выстраивается училище.

Дежурный по училищу подполковник Лободин, высокий и такой широкогрудый, что несколько орденов почти незаметны на его кителе, командует оглушительно;

— Приступить к вечерней поверке!

Генерал принимает доклады на площадке второго этажа — там, где перекрещиваются пролеты лестниц. Сбегают и поднимаются к нему командиры рот (в напряженной тишине раздается скороговорка Тутукина и меланхолический голос Островского).

Оркестр играет величественный, торжественный гимн. Застыли ряды, и хотя это происходит не в первый и даже не в десятый раз, но неизменно душу охватывает волнение. Под звуки марша роты расходятся по спальням. Уезжает домой генерал. Погружается в темноту актовый зал.

В спальнях воспитанники перебрасываются последними фразами, укладываются поуютнее на койках, плотнее подвертывают одеяла.

И вот, наконец, уснуло училище, и тишина разлилась по тускло освещенным коридорам, окутала уходящие вдаль матовые шары плафонов.

Сегодня мое дежурство. Что-то не спалось. Часов в 12 я решил пройти по зданию. Вышел на лестницу. Странно, — откуда-то сверху, кажется из актового зала, доносились звуки рояля. Тихо поднялся по лестнице. Открыл дверь в зал. Лунный свет, вливаясь в огромные полукруглые окна, проложил дорожки к мраморным колоннам, мертво осветив их снизу. Верхняя часть колонн исчезла в темноте, и от этого они походили на остатки древних развалин. Луч выхватил из тьмы край мраморной доски с золотыми буквами: «Железная грудь наша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов: она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается» (Кутузов).

У рояля — маленькая фигура, показавшаяся мне сиротливой в этом огромном ночном зале.

Звучала грустная мелодия «Осенней песни» Чайковского. Я подошел ближе — и не поверил своим глазам.

У рояля сидел Володя Ковалев.

Он резко оборвал игру, мелодия замерла на полуфразе.

Вскочил, вызываясь выпрямился. Видно, уверен был: сейчас последует выговор за нарушение порядка, приказание немедленно отправиться в спальню, и приготовился

дать отпор, к чему бы это ни привело... Чутье подсказало мне — «нельзя!».

— Не знал, что вы так хорошо играете, — сказал я мягко.

— Сыграйте еще что-нибудь, только не громко, — и, облокотившись о крышку рояля, я приготовился слушать. Это было, видимо, настолько неожиданно для Володи, что он снова сел.

— Сыграть «Баркароллу» Чайковского? — тихо спросил Ковалев.

— Пожалуйста, — так же тихо ответил я.

Он играл вдохновенно, с душой.

Замер последний аккорд.

— Вот не знал, что вы так хорошо играете Володя, — повторил я. — Вы мне доставили большое удовольствие.

— А я думал, вы меня ненавидите, — неожиданно выпалил мальчик.

— Что вы? Наоборот, я считаю вас хорошим человеком.

— Какой уж там хороший! — горько скривил он губы. — Разрешите идти спать?

— Пожалуй, правда, спать пора... Знаете что, завтра суббота, давайте вечером вместе пойдем в город погулять?

— С удовольствием, — сдержанно сказал Ковалев.

— Ну вот и хорошо.

В дверях Володя обернулся:

— Спокойной ночи, товарищ капитан.

— Спокойной ночи, Володя...

На следующий вечер мы с Ковалевым вышли из парадной двери главного корпуса на улицу.

Первые огни только-только затеплились в окнах. На темнеющем небе проступили силуэты оголенных по-весеннему деревьев.

— Хорошо... — глубоко вдохнул я весенний воздух.

— Хорошо, — радостно повторил Володя.

— Ты уроженец каких мест? — спросил я. — Ничего, что я тебя на ты называю?

— Наоборот, мне приятно, товарищ капитан...

— Ты меня вне службы называй просто по имени — отчеству.

— Не смогу...

— Это почему же?

— Да странно как-то..

— Ничего, привыкнешь... Так ты из какой местности?

— Мы до войны в Таганроге жили, отец механиком на заводе работал.

— Знаю, знаю Таганрог, был в нем. Каменная лестница там к морю идет... и в Чеховском домике был — в глубине двора такой маленький стоит.

— Верно, — оживился Володя. — У нас порт какой!

Володя преобразился, рассказывая о родном городе, и скованность, которую он, видимо, испытывал вначале, исчезла вовсе.

В этот вечер мы очень сблизились. Володя даже рассказал мне о своей дружбе с Галей Богачевой (он познакомился с ней на новогоднем вечере) и просил пойти с ним в гости к Богачевым. Я пообещал пойти.

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА

Утром Гербов вывесил объявление:

«Сегодня в 16.00 открытое комсомольское собрание

Повестка дня:

Что мешает нам в укреплении дружбы
и товарищества!»

В назначенный час все воспитанники моего отделения были в сборе.

Начальник политотдела потеснил на парте Лыкова и Братушкина и сразу слился с классом, стараясь ничем не привлекать к себе внимания. В дверь протиснулся Семен Герасимович, держа подмышкой пухлый портфель.

Год назад Гербов был единственным комсомольцем во всей первой роте, теперь же только у меня в отделении девять комсомольцев со стажем от двух до трех месяцев.

К порядку еще не привыкли. При выдвижении кандидатур в президиум каждый с места, не поднимая руки, выкрикивал свое. Наконец выбрали Гербова, Снопкова и, вопреки правилам, Семена Герасимовича. Занимая место за столом, Гаршев добродушно пробурчал: «Старый пионер», и глубже насадил пенсне на переносицу. Председательствуя, Гербов то и дело поглядывал на меня, словно спрашивал, правильно ли ведет собрание, не напутал ли?

Делая доклад, я привел примеры дружбы великих революционеров, примеры взаимной выручки бойцов на фронте Великой Отечественной войны.

— Я не стоял бы сейчас перед вами, если бы меня, тяжело раненного, не вынес с поля боя девятнадцатилетний солдат — комсомолец Черкашин. Разрывная пуля раздробила и ему пальцы левой руки, но комсомолец нашел в себе силы взвалить меня на спину и ползком дотащить до перевязочного пункта...

Сделал небольшую паузу и решил перейти к более близким примерам:

— Есть и у нас в отделении дружные пары. А вот сплоченного коллектива у нас еще нет. Василий Лыков, например, изрядный эгоист: заболел Андрей Сурков, лег в госпиталь, а в отсутствие Андрея Лыков в спальне занял его койку (она ближе к печке), и когда Андрей возвратился из госпиталя, комсомолец Лыков не пожелал освободить захваченного места.

— Я освобожу, — бормочет Василий, чувствуя неловкость под осуждающими взглядами товарищей.

— Записывать в протокол? — тихо спросил у Гаршева Снопков.

Семен Герасимович сделал вид, что не расслышал вопроса — кто его знает, надо ли? — и стал рыться в кармане пиджака.

— Я записываю обещание Лыкова, — решительно объявил Снопков.

Все рассмеялись. Снопков нахмурился, но записал.

— У нас нет еще настоящей сплоченности, — продолжал я, — Геннадий Пашков, например, любит давать товарищам оскорбительные клички, называя это занятие «дружеским обливанием». Многие из вас неверно понимают товарищество. В прошлый вторник кто-то разбил футбольным мячом оконное стекло в зале. Спрашиваю: кто? — все молчат. А стремление скрыть виновного вытекает из ложно понимаемого чувства товарищества. Разве не первый долг комсомольца помочь другу, если тот сходит с правильного пути, честно и прямо сказать: «Ты поступил плохо»? Вы скажете — как же товарища выдавать? А я отвечу: у разбившего стекло мужества маловато, поэтому он вместо открытого признания своей вины и прячется трусливо за спины товарищей.

Ковалев сидел недалеко от окна, в своей излюбленной позе — немного боком, глубоко засунув в карман брюк левую руку. Он слушал внимательно, не поднимая глаз. Его питомец — воробей Гришка, привыкший в этот час

получать свою порцию хлебных крошек, выражая недовольство задержкой обеда, долбил клювом раму окна и устрашающе пыхтел.

Я кончил свое выступление, и, как это часто бывает, в ходе собрания наступила заминка — не потому, что не о чем было говорить, а просто никто не решался начать первым.

— Кто желает получить слово? — тщетно взывал к собранию председатель. — Ну, товарищи, кто выскажется?

Каждый думал: «Пусть кто-нибудь первым выступит», и выжидающе поглядывал на соседа, подталкивая его. Тогда Снопков решительно положил на стол карандаш и встал, расправляя гимнастерку. Он умел выручать в критический момент, и все с облегчением вздохнули. Как всегда, Снопков говорил оглушительно звонко.

— Что тут много рассуждать? Мы должны жить одной семьей и не обижать друг друга! Я в «Боевой листок» статью написал — Андрея Суркова справедливо критиковал. А он после этого перестал и смотреть в мою сторону. «Ты, говорит, поступил не по-товарищески». Спрашивается, что же здесь не товарищеского, если я честно написал, как думаю? У нас в стране все на дружбе построено, и комсомол — это союз молодых коммунистов. Без дружбы в армии не будет сплоченности, а значит и силы. Я кончил!

И Снопков торопливо наклонился к тетради, торопясь записать свое выступление. Теперь ему нужно было только поспевать: желающих говорить оказалось много. Семен Герасимович слушал, слушал, да и сам поднял руку.

— Высшая награда для учителя — ощущать свою близость к воспитанникам, знать, что ты их старший товарищ... Между нами должна быть большая дружба.

— Хороша дружба, — выскочил Пашков, словно его подбросило пружиной. — Вы, Семен Герасимович, вечером со мной задушевно беседовали, — Пашков говорил немного в нос и глотал окончания фраз, — а на утро я домашнее задание подал, ну, грязновато немного написано, но терпимо, а вы перечеркнули и сказали «переделать». Всякая задушевность пропадет...

Кто-то рассмеялся.

Зашумели все разом.

— Нечего сказать, понял задушевность...

— А ты бы хотел поблажку?

— Скидочку?..

— Выскочил!

Кто-то сзади потащил Геннадия за гимнастерку, и он плюхнулся на сиденье парты.

— Семен Герасимович, — возвысил голос Гербов, прекращая шум, — Пашков сейчас, не подумав, сказал. Мы знаем, дружба со старшими может быть настоящей, крепкой. Когда я уезжал из части, сержант Иван Тихонович Погорелов обнял меня и говорит: «Помни, я твой друг»... Продолжайте, Семен Герасимович.

После Гаршева и Лыкова выступил Андрей Сурков. Он быстро взглянул на Володю и решительно сказал:

— По-моему, нужно уметь для товарищей и личным поступиться. Я в бюро состою. Дал поручение Ковалеву — выпустить альбом «Фронт и тыл в Отечественной войне». Этот альбом необходим всей роте, а Владимир заявляет: «Делать не буду». Почему? «Мне этот вид работы не по сердцу». Разве ж, товарищи, мы должны делать только то, что «по сердцу», а если надо для всех? Сначала покажи себя на том участке, куда поставлен.

— Я полагаю... — неторопливо поднялся Ковалев.

Но Гербов, опасаясь за друга, решительно прервал его, опершись кулаками о стол.

— Товарищ Ковалев, я не давал вам слова.

Резолюция была необычной, ее предложил Снопков: «1. Жить дружно.

2. Комсомолец, нарушивший товарищескую спайку, будет отвечать перед собранием».

Заключительное слово полковника Зорина оказалось самым коротким из выступлений.

Он вышел к столу, обвел всех удовлетворенным взглядом:

— Вы приняли очень хорошее решение. Но держитесь! Теперь его надо осуществить обязательно. Уверен, вы справитесь с этой задачей, как подобает революционной молодежи.

Как будто все было сказано, и Семен объявил собрание закрытым. Я посмотрел на Ковалева и понял его состояние. Он чувствовал — произошло что-то очень значительное. Может быть, ему хотелось подойти сейчас к Пашкову, протянуть руку, помириться с ним, сказать мне какое-то душевное слово, проводить до проходной

Семена Герасимовича. Но он ничего этого не сделал. Мальчишеская гордость мешала.

Гришка решительно буйнил за окном, потеряв последнее терпение. Володя открыл окно, стал высыпать крошки на карниз, выворачивая карманы брюк...

...На следующий день я столкнулся с Зориным в театре. Прохаживаясь в фойе, мы вспоминали комсомольское собрание.

— У вас скоро будет крепкая опора, — убежденно говорил Зорин, — только умело пользуйтесь ею.

— Но ведь руководить комсомольской организацией это не значит превращать комсомольцев лишь в исполнителей наших поручений? — сказал я. Пусть сами учатся выдвигать задачи и решать их. Конечно, посоветовать им, проконтролировать их надо, но не лишать самостоятельности!

— Верно! — живо отозвался Зорин. — И надо отрешиться от штампа! Скажем, пусть комсорг Гербов при составлении плана работы спросит у комсомольцев: «Какие у вас пожелания?» — и постарается принять их в расчет. Дел интересных уйма! Собрать средства на постройку танковой колонны, подготовить пьесу и показать ее раненым в госпитале, особенно заботиться о малышах, поскольку у нас нет пионерской организации... Главное, развить чувство ответственности перед комсомолом, развить личную инициативу. Поменьше словопрений, больше организованности!

— Раз мы уже заговорили, товарищ полковник, о комсомоле, скажу откровенно: по-моему, наша комсомольская организация стала принимать новых членов слишком легко. Ведь событие это — прием — должно быть очень значительным. А у нас получается так: четырнадцать лет исполнилось — ну, значит пора «вовлекать»!

— Присмотрюсь, — сказал Зорин. — Возможно, мы и принижаем это дело... Возможно...

— Вчера с Пашковым разговаривал, — вспомнил почему-то я. — Редко в училищную газету пишете, говорю ему. Пашков побагровел от возмущения: «Мою статью забраковал редактор Ковалев, приписывает мне подхалимаж!». Больше ничего у Геннадия я узнать не смог. Спрашиваю у Ковалева: «В чем дело, почему ты не поместил заметку Пашкова?». «Да посудите сами, товарищ капитан, он ее начинает словами: «К нам приехала для

инспекторской поверки московская комиссия, и мы поэтому должны подтянуться». А если бы не приехала? Тогда не грех и двойки получать?».

— Редактор, пожалуй, прав, — усмехнулся Зорин. — Мне нравится в Ковалеве, что он имеет собственное мнение. В конце прошлого учебного года — вы тогда еще не работали у нас — отделение ваше заартачилось — отказалось писать контрольную по английскому языку: «Нас не предупредили». Так Ковалев пошел против всех и переборол упрямцев. Я тогда еще подумал: надо внушить им всем: быть хорошим товарищем — это вовсе не значит итти на поводу у коллектива. Приятно, когда человек говорит: «Я глубоко убежден», «Я думаю так», и умеет противиться течению, если оно сносит в сторону. — Зорин помолчал.

Мы остановились около перил на площадке фойе.

— Мы ведь из них, знаете, каких коммунистов воспитаем! — мечтательно произнес он. — Ленин о таких в двадцатом году говорил. Помолчал и добавил: но для этого надо работать очень много...

Я был с Володей у Богачевых — семья очень симпатичная, и надо только радоваться, что он принят у них своим человеком. Мать Гали, Ольга Тимофеевна — завуч женской школы — говорила мне, что Володя удивительно хорошо воспитан, и я не стал ее разубеждать. Только подумал: «Если они хотят — могут быть безупречными, надо только добиться, чтобы почаще хотели».

На следующий день после посещения Богачевых Володя доверчиво передал мне свой и галин дневник (они пишут его по очереди и каждую субботу передают друг другу). Сказать по правде, я был растроган доказательством такого исключительного доверия, а что может быть дороже этого для воспитателя.

ПОБЕДА!

Поздно ночью, закончив читать дневник ребят, я потушил лампу и распахнул окно в сад.

Меж веток цветущей вишни дрожали звезды. Серdito прогудел жук и шлепнулся о стену.

Я очень долго стоял, вслушиваясь в тишину. Спать не хотелось, и мысли все время возвращались к ребятам.

Советский офицер! Бесстрашный и мужественный. Верный сын трудового народа... Новый человек нового общества. Мне вспомнились слова Горького: «В жизни есть прекрасное, оно растет, — давайте любовно поможем росту человеческого, нашего!».

Я уже сейчас вижу ясно проступающие черты этого нового советского человека. Все помыслы и дела его согреты мечтой о торжестве коммунистической справедливости. Он отдает всего себя служению прекрасной родине. Именно таких людей мы растим из суворовцев, из советских детей. Они уже носят в себе те прекрасные зерна, из которых поднимаются все выше и выше победы нового.

Но восхищаться некогда! Нужно, чтобы нравственный рост детей не отставал от физического и умственного. Воспитать образованного коммуниста — это требует упорства, самоотверженности, какого-то особого вдохновения.

Надо научиться закреплять самую маленькую победу в воспитании. Развивать успех. В каждой работе есть своя проза — надо уметь смотреть на нее глазами поэта.

Небо начало светлеть. Вдруг где-то на дальней улице послышались возгласы, громкая переключка голосов, нарастающий шум.

В разных концах города раздались выстрелы. Судя по звукам, стреляли из винтовок, пистолетов и автоматов.

Дверь соседнего дома распахнулась, и на крыльцо выскочил незнакомый мне высокий черноволосый человек.

На нем было синее галифе, войлочные туфли на босу ногу и гимнастерка с одним пустым рукавом.

— Победа! Товарищи! Мир! — закричал сосед на всю улицу.

— Вставайте! Вставайте! Мир! Победа!

А из улиц выходили люди — группами и в одиночку. — пожимая друг другу руки, поздравляя, общим потоком устремлялись к центру города, словно чувствуя, что именно там нужно собраться и встретить всем вместе этот радостный час.

Я побежал в училище. Все окна были освещены, хлопали двери, в коридорах слышался топот ног, громко говорил репродуктор в необычный для него час.

Когда я вошел в спальню своего отделения, ребята с радостными возгласами бросились ко мне:

— Товарищ капитан, поздравляем!

— Товарищ капитан, с победой!

Я едва успевал пожимать протянутые руки, обнимать. Это была родная семья.

Когда в полдень я снова подходил к высоким воротам училища, они широко распахнулись и на улицу колонной вышли суворовцы.

Они шли ряд за рядом, сверкая белизной гимнастеров, сверкая улыбками, гордо покачивая алыми погонами и околышами фуражек. Казалось, летящее впереди колонны крылатое знамя отбрасывает на нее алую тень.

Последняя шеренга вышла из ворот. Запевала начал песню:

Мы Сталина дети —
Орлиное племя...
И песню мы гордо
И звонко поем
О подвигах ратных,
О славных победах
И армии нашей
Пути боевом!

Рядом со мной на тротуаре стояла какая-то пожилая женщина в белой, по-деревенски низко надвинутой на лоб косынке.

— Да какие же они все хорошие! — доверчиво обратилась она ко мне и посмотрела так, словно благодарила.

В первой шеренге, плечом к плечу, шагали Семен Гербов, Владимир Ковалев, Андрей Сурков, Василий Лыков — будущие офицеры земли советской.





ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Я пришел на педагогический совет за полчаса до назначенного срока, вскоре в большой комнате собралось человек сто. Здесь были не только воспитатели, преподаватели, но и врачи, интенданты, работники клуба и библиотеки.

До войны я очень любил эти часы сбора учителей в школе. Часы, когда споры, реплики, философские суждения рождали и связывали всех присутствующих крепкими узами общего труда, изобилующего радостными взлетами и горькими падениями, разочарованиями и счастьем достижений.

Здесь обязательно возникал спор между «старыми» и «молодыми», обязательно находился какой-нибудь ворчливый скептик и петушившийся, только вчера пришедший со студенческой скамьи новатор, готовый все перевернуть вверх дном и один на один принять бой с «рутинерами» всего света.

Здесь завуч, не называя фамилии, рассказывал с тонкой улыбкой о том, как одна уважаемая преподавательница пришла на урок без журнала, и все понимающие улыбались, зная рассеянность обидчивой химички, и как не менее уважаемый Петр Алексеевич принес на урок микроскоп без стекол. И обязательно Петр Алексеевич потом выступал с объяснением, почему стеклов в микро-

скопе не оказалось, и своим объяснением еще более убеждал всех, что никто, кроме него, в этом не виноват. И, конечно, вызывал горячие споры неисправимый ученик 6-го «б» Савчук. Одни настаивали на том, чтобы написать письмо в местком, где работает отец Савчука, с просьбой подействовать на нерадивого отца, а другие предлагали вызвать и отца и сына на педсовет.

Я словно возвратился в это дорогое прошлое. С радостью замечал по обрывкам фраз, по настроению присутствующих, приподнятому и праздничному, по разговорам, ворчливым и ласковым, что и здесь все связаны одним желанием — воспитать ребенка как можно лучше. Подумал: «Такой коллектив составил бы гордость любой школы».

В кармане моего кителя лежало письмо от матери Ковалева. Я получил это письмо давно, но захотелось перед началом педсовета перечитать его. Оно снова вызвало во мне смешанное чувство гордости за свое дело, неудовлетворенности собой и желания работать лучше прежнего. Письмо имело прямое отношение к теме предстоящего педсовета.

«Я — мама Володи Ковалева, и хотела бы просить вас, насколько это возможно, писать мне чаще о сыне. Вы ведь для него геперь всё: отец, семья, дом, а значит и для меня очень близкий человек. Меня чрезвычайно встревожила одна фраза в последнем письме Володи: «Кажется, и с новым офицером я не найду общего языка».

Я вам скажу по-матерински, но не закрывая глаз на недостатки Володи: он самолюбив, вспыльчив, однако имеет золотое сердце. Только к нему надо подобрать ключ, а название этому ключу — ласка.

Незадолго до своей гибели мой муж завещал мне воспитать сына настоящим человеком. Я решила, что вы в училище сумеете это сделать лучше меня, оторвала Володю от сердца, отдала сына вам. И я не ошиблась.

Летом, когда Володя приезжал на каникулы, я не узнала его. Он старался помочь мне во всем, был шепетильно честен, трогательно заботлив. Мы пошли в театр, и при входе в фойе он открыл передо мной дверь, пропустил вперед. А каким аккуратным стал! Даже шинель вешает как-то по-особому, вывернув ее подкладкой наружу. В первый же день приезда сам подшил воротничок, сказал озабоченно:

— Пойду к коменданту зарегистрироваться.

Я своим глазам не верила, нарадоваться не могла. Ведь год назад он был невнимательным, каким-то развинченным — и вот всего лишь за год вы сумели сделать так много. Я знаю, как и тысячи других матерей, вручивших вам самое дорогое, что у них есть — свое дитя, вы сумеете воспитать у Володи самые лучшие качества. И меня очень встревожила эта фраза: «Я не найду общего языка». Почему? Может быть, он уже успел вам нагрубить? Может быть, простите за эту прямолинейность, вы, не зная еще его характера, сразу жесткой рукой решили обуздать строптивного, а он свернулся, как ежик, и колется?

Прошу вас, пишите мне! Пишите обо всем, ведь каждое слово о нем для меня глоток воздуха. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас.

Антонина Васильевна Ковалева».

В комнату неторопливой походкой вошел генерал, сопровождаемый начальником политотдела.

— Садитесь, садитесь! — приветливо сказал он. — Ну-с, начнем. С распорядком вы знакомы. Доклад «О воспитании самостоятельности» сделает нам подполковник Островский.

Островский говорил тихим голосом, словно споря с самим собой и в этом споре только сейчас обнаруживая истину.

— Воспитанники выросли, а мы порой цепляемся за приемы воспитания, которыми пользовались почти два года назад, когда им, например, было по четырнадцать лет. Перед нами подросток, чутко самолюбивый, стремящийся определить свое место в жизни, почувствовавший вдруг, что и он немало значит, что и у него должна быть своя точка зрения на все окружающее. Он утверждает свою личность, свое право критики, способен нагрубить, чтобы доказать независимость. А мы видим в этом только покушение на дисциплину и караем. Подросток настороженно вспыльчив, потому что ему то и дело мнится посягательство на его самостоятельность, на его «взрослость», он упрям, думая, что в этом заключается сила характера... А мы стремимся, во что бы то ни стало, сломить строптивость, подчинить его волю, навязать свою,

обязательно свою, порабощающую опеку, словно видим заслугу в умении обламывать ростки самобытности, пытаемся стричь всех воспитанников под одну гребенку.

Майор Тутукин что-то записывал в блокнот, ожесточенно ломал карандаш, торопливо затачивал его и снова ломал.

— И подросток замыкается, уходит в себя, а мы отрезаем себе пути к нему. Потому, что когда он нагрубил, сделал не так, как мы хотели, он становится нам неприятен. Невольно поддаваясь этой неприязни, мы часто уже не в состоянии обуздать свое самолюбие, оно берет верх над выдержкой и здравым смыслом воспитателя, и мы тоже готовы вспылить, наказать, скрутить волю.

Подполковник остановился, склонив к плечу морщинистое лицо, словно прислушивался к сказанному:

— Наши старшие воспитанники должны пользоваться большим доверием, нежели сейчас. Строгость и требовательность — не основа воспитания. Мы должны внушить не страх, но стыд наказания.

Подполковник покосился на Тутукина, майор еще быстрее забегал карандашом по бумаге.

— Да, да, стыд наказания! — решительно повторил Островский. — У закрытого учебного заведения есть свои уязвимые места — необходимость для воспитанников «жить на людях», вечно на людях. А ему хочется порой побыть одному или только с самым близким другом. В обычной школе, если у какого-нибудь ученика произошла дома неприятность, он один мрачен и хмур. А у нас стоит только одному понервничать, как начинает лихорадить все отделение.

— Последний урок у меня плохо прошел в вашем классе, — прошептал Веденкин капитану Беседе, — все были чем-то возбуждены, а больше других Каменюка. Очевидно, на перемене произошел какой-то крупный разговор.

— Самостоятельность не воспитаешь, не зная внутреннего мира детей. А мы его плохо знаем, совершенно недостаточно знаем! — словно сердясь, воскликнул подполковник. — Несколько дней назад я встретил в саду воспитанника Семенова. Тихий, малозаметный подросток, несколько болезненного вида. В прошлом году он занимался хорошо, а в этом с двоек на тройки перебивается. В чем

дело? Ну, поговорили мы о том, о сем. И знаете, в чем он мне признался? Я, говорит, прочитал книгу Каверина «Два капитана». Там летчик Саня Григорьев добился большой цели. И я хочу стать летчиком. Но у меня слабое здоровье, с таким в летную школу не примут... Я бросил учиться... За плохую успеваемость меня должны выгнать из Суворовского. Я поселюсь в деревне... Укреплю свое здоровье, закалюсь... и пойду в летное училище». Почему же вы не поделились до сих пор ни с кем своими планами? — спросил я у него. «У меня нет близкого друга, а воспитатель только сердился на меня, и я решил никому ничего не говорить...» Товарищи! — воскликнул Островский. — Ведь, я уверен, Семенов — волевой мальчик, и он в жизни добьется своего, но ему следует указать верный путь проявления самостоятельности и упорства. А мы лишь случайно узнаем о его планах. И почему? Думаю, потому, что иные из нас, сами того не замечая, возводят между собой и детьми стену отчужденности, прикрываясь при этом рассуждениями о субординации, об особенностях училищного режима. Мне подобные рассуждения кажутся лишь лазейкой для тех, кто не желает обременять себя кропотливым трудом. Конечно, приказывать да строго хмурить брови легче, чем быть по-настоящему близким человеком.

Когда Островский кончил, первым попросил слово Тутукин. Он торопливо подошел к трибуне, на ходу бросив в зал громким голосом:

— Уважаемый подполковник Островский... — обхватил обеими руками трибуну, остановился на секунду, словно вбирая побольше воздуха, — сделал хороший доклад... Но я никак не могу согласиться с его тезисом о скидке на возраст. Прочные основы армейской дисциплины мы должны закладывать у воспитанников именно с первых лет учения. Психология — психологией, а попустительствовать нам никто не разрешит. Нет-с! Никто! Стыд наказания? А откуда этот стыд возьмется? Само наказание рождает стыд перед товарищами и перед самим собой. Они у нас слишком заласканы: здесь — все для них, домой на каникулы приехали — с ними носят, как же, Ванечка на месяц приехал! На улице — всеобщее восхищение. И появляется себялюбие. Заласканы! Строгости больше надо! Она — основа воспитательного успеха!

Закончив выступление, Тутукин, не торопясь, сел на свое место рядом с Островским, и тот начал тихо его убеждать:

— Но ты меня не понял, Владимир Иванович!

Семен Герасимович плотнее оседлал переносицу пенснэ, расстегнул было пуговицу пиджака, что-то вспомнил и торопливо застегнул ее.

— Разрешите? — поднял он руку.

Гаршев говорил так же, как и задачи решал: увлекаясь и жестикулируя. Так и казалось, что сейчас возьмет мелок и начнет писать доказательства.

— Мы чрезмерно опекаем наших воспитанников, приучаем их к разжеванной каше — только глотай! И у них появляются иждивенческие настроения, юркая мыслишка, что, мол, преподаватели обязаны меня в следующий класс перевести, а то им самим от генерала попадет. Воспитанник поленивее не очень-то беспокоится о невыполненном задании. Ведь учитель придет с ним дополнительно заниматься — «вытянут!». А я с лентяями дополнительно не занимался и заниматься не буду! Ни за что! — грозно сказал математик, и все улыбнулись. — Другое дело — воспитанник болел или недопонимает... Тут и времени своего не жаль потратить, даже приятно... И с отличниками позаниматься дополнительно я всегда рад, а от упорных лентяев надо освобождаться! Есть тысячи достойных и радивых детей, жаждущих попасть в Суворовское, и незачем нам нянчиться с бездельниками.

Гаршев остановился и уже более спокойно продолжал:

— Я хочу рассказать педагогическому совету о некоторых формах воспитания математической самостоятельности... Есть у меня так называемые «инициативные работы». Назвал я их так потому, что учащиеся сами просят дать им такое дополнительное задание. Подходит ко мне, скажем, Гербов Семен и говорит: «Я хотел бы у вас получить дополнительное задание по теме «арифметические и геометрические прогрессии». Гербов у меня средний ученик, и я даю ему решить ряд задач сообразно его возможностям, а у себя в специальной тетради отмечаю, какие именно дал. Пашков сильный, ему и задачи сложнее, так сказать, «минированные», с опасностью подорваться. Решив их, любители математики получают наслаждение и просят дать новое задание. А я внимательно слежу за тем, чтобы воспитанник, пройдя одну фазу трудности,

не топтался на месте, перешагнул бы на новую ступеньку. И что вы думаете? Они незаметно для себя, всем классом, пристрастились к математике, начинают ощущать ее вкус и... и... прелесть.

Семен Герасимович посмотрел поверх стекол на сидящего неподалеку Веденкина, ожидая возражений, и, не услышав их, повторил:

— Именно прелесть, потому что проникают в душу ее! Итак, — торжественно произнес Семен Герасимович, — вкус самостоятельности познан! — и он поднял вверх силоватый от мела указательный палец.

Садясь на место, Гаршев достал было торопливо кисет с табаком, но тотчас смущенно спрятал его и приготовился слушать.

Я попросил слова, и когда очутился перед внимательными, напряженными глазами офицеров, внутренне разволновался. Мне хотелось о многом сказать как «свежему» человеку, увидевшему то, к чему другие, возможно, присмотрелись, и было немного неловко выступить — слишком еще незначительным казалось сделанное мною самим.

— О своем опыте мне, товарищи, еще рано говорить, — кажется, так я начал, — но в последнее время я ближе познакомился с работой капитана Беседы и о ней-то хочу сказать несколько добрых слов.

Беседа недовольно посмотрел на меня и насупился.

— У капитана Беседы я часто бываю в отделении. Мне нравится, что он как воспитатель идет вперед не вслепую, наощупь, а продумывает путь и самую систему воспитания.

Алексей Николаевич стал еще мрачнее.

— В его педагогическом темпераменте прежде всего бросается в глаза уравновешенность, выдержанность, любовное отношение к детям при справедливой строгости к ним. Его отделение — это коллектив с общими интересами. Здесь и переписка с другим училищем, и строительство авиамоделей, и совместные прогулки. В отделении Алексея Николаевича чувствуется самостоятельность ребят. Он им доверяет и не ошибается в своих расчетах. Они сами себе и ботинки подберут, сами и выстроятся. А ему только докладывают — выстроились, сменили ботинки... Сами парты вытрут, вешалку сделают. Капитан Беседа раз в месяц проводит проверку состояния учебников, у него даже есть «тетрадь сохранности имущества

отделения», и в этой тетради записаны поощрения и наказания. Правда, нашелся один «аристократ духа» — Авилкин, не захотел класс убирать. «У меня денщик, говорит, будет». Нагорело же ему от ребят за этого денщика! Воспитанник Голиков подошел к Авилкину, оглядел с головы до ног и говорит: «Кто знает, может быть, ты еще сам денщиком будешь!».

Все рассмеялись. Довольно рассмеялся и Алексей Николаевич. Ему, видно, приятным становилось это мое неожиданное выступление: оно было тем «взглядом со стороны», какой необходим, чтобы по-новому оценить свою работу.

Воспитатель обычно занят таким множеством на первый взгляд маловажных, обыденных дел, столько тратит времени на мелочи, неизбежные в воспитательной работе, что порой ему начинает казаться — он топчется на месте, идет по кругу повторных усилий, однообразных и бесплодных.

В жизни каждого честного воспитателя бывают приступы минутного малодушия, когда думается: ничего не сделал, хоть заново все начинай. Но проходит такой приступ, взор проясняется и опять видишь впереди желанную цель и трудный пройденный путь, и радующие сердце всходы. Нет, недаром так утомительно, часто и долго пропалывал ты эти всходы, изо дня в день, из часа в час удалял сорняки. Недаром! И возвращается бодрость, и с новым упорством берешься за дело.

Выступили еще многие офицеры: каждый делился своими мыслями, рассказывал о поисках и сомнениях.

Майор Веденкин говорил:

— Может быть, это звучит парадоксально, но труднее направлять развитие ребенка среднего, незаметного, во всех отношениях внешне благополучного, чем какого-нибудь явного «разбишаку», как называют у нас неукротимых шалунов. У средненького недостатки спрятаны глубоко, изъяны характера не бросаются в глаза, так как держится он в тени, прячется за спину коллектива. И если мы, увлеченные перевоспитанием одного-двух откровенных нарушителей порядка, не обратим вовремя внимания на скрытые под внешней благовидностью недостатки «благополучненького», недостатки эти через несколько лет могут вырасти в пороки. В четвертом отделении пятой роты есть воспитанник Дадико Мамуашвили — дисципли-

линированный, старательный мальчик, как будто не внушающий опасений. Но вот на-днях я обнаружил у него ложное представление о товариществе. Небезызвестный Авилкин опоздал минут на двадцать из городского отпуска, но незаметно проскользнул мимо проходной и разделся в шинельной. Мамуашвили знал об этом, однако, когда воспитатель при всех спросил его, опоздал ли Авилкин, Дадико заявил, что собственными глазами видел, как тот пришел во-время. Позже ложь обнаружилась. «Зачем же вы солгали?» — спросил я у Мамуашвили. — «Суворов сказал: «Сам погибай, а товарища выручай!», — ответил он. Оказывается, и Мамуашвили нуждается в нашем неослабном присмотре. Увлечись мы перевоспитанием только Каменюки да Авилкина, упустя из поля зрения «благополучного» Мамуашвили, и он при таком понимании товарищеской солидарности совершит новые и новые нечестные поступки.

Итоги выступлениям подвел генерал. Он облек свое заключение в форму простых, но точных указаний.

— Не ищите объяснения своим неудачам вне себя, — сказал он нам. — Я разделяю возмущение Семена Герасимовича лентяями, но не могу с ним согласиться, что от них надо освобождаться. Думаю, их надо сделать трудолюбивыми — в этом наш долг. Я плохо знаю педагогику, но 30 лет воспитываю солдат, и это, пожалуй, стоит пединститута. Так вот я уверен, что самый «плохой» класс в руках мастера-педагога преобразуется, только надо вкладывать всю душу в работу, быть вдумчивее и самокритичнее. Творчески искать... Использовать каждую возможность на уроке и вне урока для коммунистического воспитания. Вы можете педантично исполнить предписания начальства, но если действия ваши не согреты личной убежденностью, внутренней страстностью — вы все же не будете иметь успеха. Этому ведь учил Ушинский? — повернулся Полуэктов к Зорину, и тот утвердительно кивнул головой.

— Бесстрастный воспитатель опаснее искренне заблуждающегося — он может погубить любое живое дело. Я думаю, что такой искренне заблуждающийся — капитан Беседа. Капитан подал мне рапорт. Он настаивает на исключении из училища воспитанника Каменюки. Сколько лет этому «преступнику», товарищ капитан?

— Тринадцать.

— Ну вот, пожалуйста... Тринадцать лет, и вы его уже зачислили в неисправимые. Я не верю, — с силой сказал генерал, — что коллектив офицеров, более ста человек, не в состоянии перевоспитать тринадцатилетнего мальчика, даже самого испорченного. Из Каменюки можно вырастить хорошего, волевого человека. У него есть сила характера, и мы обязаны направить ее в нужную сторону. А вам, товарищ Беседа, не к лицу опускать руки и слабодушничать. Поработайте над мальчиком как следует! Загляните в себя — все ли сделали? И вы увидите, что не все.

— Воспринимая все полезное, приемлемое для нас у старых военных учебных заведений, — продолжал генерал, — мы не думаем их копировать, ибо содержание, цели наших училищ совершенно иные — это учебные заведения нового типа, мы создаем советского военного человека. Прав майор Тутукин: разумная строгость, воинский порядок необходимы, но он неправ, когда полагает, что можно свести все дело только к этому, когда забывает, что мы для детей семья, дом, родители...

Генерал сделал паузу и закончил:

— Дело наше благородное, новое, и надо собирать золотые крупинки опыта. Знание одних только фактов бесцельно, если нет творческой переработки наблюдений жизни.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЕ ДЕЛО

В нашей роте историю преподает майор Виктор Николаевич Веденкин — человек, любящий свой предмет страстно, как моряк море.

До училища майор был агитатором полка. При освобождении Горловки его тяжело ранило осколком снаряда в грудь. Он попал в госпиталь, а оттуда к нам.

Сдружился я с Виктором Николаевичем не так быстро, как с Беседой, но когда мы узнали друг друга лучше — нашли много общих интересов и стали неразлучны. В нашей первой роте он работает с увлечением, щедро тратит силы. Но настоящее наслаждение приносит ему работа с маленькими.

До Отечественной войны Веденкин читал лекции в учительском институте, случалось работать и в техникуме, и в школе взрослых, однако всегда его тянуло именно

к «мелюзге», как ласково называет он своих подопечных. Трудно сказать, что привлекает его к этой возне с маленькими. Может быть, их доверчивость и детская жадность к новому, осязаемая податливость души, готовой принять ту форму, которую придает ей мастер. Не раз представлялась Веденкину возможность поступить в аспирантуру, но он упорно обходил ее. И когда жена, подтрунивая, говорила: «Видно, так ты и умрешь школьным учителем», Виктор Николаевич отвечал убежденно:

— Видишь ли, дело каждого использовать свою умственную энергию наилучшим образом по велению своего сердца. Нет для меня слаще труда, чем просвещение мелюзги. Почему же не быть мне их профессором? Аспирант стремится стать кандидатом, кандидат — доктором, потому что неистребимо в человеке желание совершенствоваться и в этом движении вперед удовлетворять интеллект и... если хочешь, здоровое честолюбие. Ну, а коли я все это нахожу в работе с ребятами?

Веденкин мог часами обдумывать завтрашний урок, перебирать в памяти факты и события, группировать и разъединять их, бережно откладывать нужное и нещадно браковать лишнее. Ему хотелось так рассказать о Святославе, чтобы ребята вдруг увидели перед собой суровое лицо воина с густыми бровями, сросшимися на переносице. Увидели дымные походные костры в степи, услышали призыв Святослава: «Не посрамим земли русской», храп коней, скрежет скрестившихся сабель, свист аркана и вкрадчивый шелест стрелы.

Рассказывал он увлекательно, словно сам прибывал шит на врата Царьграда, сам преследовал Мамая и захватил его шатер на Красном холме. Проводя урок о Великой Отечественной войне, он так описывал ребятам битву за Сталинград, что они как бы воочию видели обожженные немецкие танки на склоне Мамаева кургана, бесконечные вереницы пленных гитлеровских солдат, слышали торжествующий возглас наших наступающих частей: «За Родину! За Сталина!»

Детские сердца загорались гордостью и ликованием, когда Веденкин вызывал перед ними эти живые картины. Виктор Николаевич старался рассказывать так, чтобы из этих первых представлений об исторических судьбах России у детей вырастало прочное и светлое чувство сыновней любви к Родине.

«Прежде всего — подготовка к уроку, все остальное потом» — такова первая заповедь майора Веденкина в работе.

Казалось бы, с годами подготовка педагога к уроку должна была упроститься, свестись к несложному и недолгому подбору фактов, но Виктор Николаевич говорил, что так относиться к своему делу могут лишь педагогические чинуши. Пусть тема изучалась десятки раз, пусть сегодня надо дать ее в нескольких параллельных классах — все равно, не может быть уроков, однообразно похожих друг на друга, — искусство не терпит скучного повтора.

Веденкин неистощим в своих исканиях. Он то проводит киноурок о Суворове, то сооружает с ребятами макет Куликова поля, то приглашает на исторический кружок родителей героев-краснодонцев.

Он затевает переписку с автором книги о комсомольце — герое Отечественной войны, с воинами фронтовой гвардейской части, помогает выпускать журнал «По суворовскому пути».

Мне сейчас припоминается мое первое посещение урока Виктора Николаевича, когда я знакомился с отделением Беседы. Я сидел в этом отделении уже два часа — на географии и математике, а в перемены расспрашивал ребят об их жизни.

— Какой у вас урок сейчас? — обратился я к мальчугану с пухлыми розовыми губами.

— История... у-у-у, — тревожно прогудел он, — держись! — но сказано это было с ноткой почтительности и восхищения.

Майор Веденкин вошел в класс стремительно. Заметив на полу около доски несколько бумажек, коротко приказал:

— Приведите класс в порядок, — и опять скрылся за дверью.

Возвратившись через полминуты, принял рапорт дежурного и, открыв журнал, стал перелистывать его худыми пальцами.

Когда я ближе узнал Веденкина, то убедился, что он и к офицерским обязанностям относится весьма ревностно; тщательно готовит задания по тактике, читает специальную литературу, требователен к себе и как к командиру. Это еще более расположило меня к нему.

Будучи очень знающим человеком, образованнее некоторых своих товарищей по работе, Виктор Николаевич никогда ни перед кем не подчеркивает своего превосходства, считается с порядками новой для него среды. И настолько сроднился с ней, что никому в голову не приходит, что в армии он сравнительно недавно — с начала Отечественной войны.

В классе от взгляда майора ничто не ускользает. Посмотрит внимательно — и у воспитанника рука тянется застегнуть пуговицу на рукаве, нахмурится — значит надо убрать учебник с парты, а если выйдет кто отвечать с грязными руками — обязательно отправит помыть их.

Он бесповоротно покори́л ребят со второго урока, уверенно объявив:

— Ну-с, я уже знаю всех вас!

Секрет был прост. Веденкин в блокноте, с помощью воспитателя этого отделения Беседы, составил план класса — изобразил ряды парт и надписал, кто с кем сидит. Когда ему нужно было вызвать кого-нибудь, майор незаметно поглядывал на план и безошибочно называл фамилию, а через несколько уроков и действительно запомнил фамилию каждого. Класс же был потрясен тем, что историк «с одного раза узнал всех».

Через две недели Веденкин предупредил:

— Я умею по глазам определять, кто не подготовил задания. Признавайтесь лучше сейчас же сами!

Это было уж слишком! Ребята недоверчиво заулыбались, хитро переглядываясь: «ну и майор, нашел дураков признаваться».

Тогда историк неожиданно сказал:

— Не верите? Я вам докажу! Воспитанник Авилкин Павел!

Авилкин обреченно поднялся с парты. Лицо его побледнело, и от этого волосы казались рыжее обычного, почти красными.

— Не успел... — зашнырял он зеленоватыми глазами по классу. — Задачки решал, математик много задал...

— Воспитанник Каменюка Артем!

— Я... книгу читал, — забормотал Артем, — о Батые... из второй роты на один вечер дали. Честное слово, товарищ майор...

— Продолжать? — грозно повел глазами преподаватель, но ребята уже уверовали в его чародейские способности.

— Довольно! Довольно!

— То-то... Сегодня Авилкину и Каменюке по единице не поставлю, а дальше пеняйте на себя! Если что-нибудь помешало урок выучить, придите ко мне в перемену и честно скажите. Коли причина уважительная, вызывать не буду...

Рассказывая позже в учительской об этом рискованном эксперименте и посмеиваясь, Виктор Николаевич признался:

— Мог бы ошибиться, не угадать грешников. Но ведь они себя с головой выдают. Ленивый, если не готовил уроки, прямо в глаза глядит, да еще и руку тянет, а прилежный не успел выучить — места за партой не находит, не знает, куда руки спрятать, и краснеет и бледнеет, глаза на учителя боится поднять...

ВСЕ ТОТ ЖЕ «НЕИСПРАВИМЫЙ»

Алексей Николаевич даже похудел за последние месяцы из-за возни с Каменюкой.

Вчера Алексей Николаевич был у меня и «отводил душу».

Когда участники педсовета разошлись, полковник Зорин спросил у Беседы:

— Вы уверены, Алексей Николаевич, что сделали все, что могли, с Каменюкой?

— Уверен! — самолюбиво ответил Беседа.

— А я не уверен! — мягко сказал Зорин. — Вы с мальчиком работали недостаточно.

— Я могу подать рапорт о переводе в линейную часть, — обидчиво произнес воспитатель.

— Вы, капитан, не уподобляйтесь своим ребятишкам. Я требую от вас как от коммуниста найти решение этой нелегкой задачи и помочь Артему стать человеком. Это в ваших силах!

— Слушаюсь, — хмуро ответил капитан.

— Да не в «слушаюсь» дело, Алексей Николаевич, а в том, чтобы вывести мальчика в люди... Тут педагогического рецепта не пропишешь, да и не собираюсь я заниматься этим. Но мне кажется, что к Артему и вообще

ко всем ребятам отношение должно быть теплее, чтобы чувствовали они отеческую заботу. Не устану я вам об этом напоминать, не устану!

В субботу, после обеда, Каменюке сказали, что его вызывает к себе начальник политотдела. Артем тотчас отправился к полковнику. Поднялся на второй этаж, сунулся в дверь кабинета, но там было полным-полно офицеров, и Артем остался переждать в комнате посетителей.

Полковник Зорин в это время в своем кабинете разговаривал с нами. Совещание скоро закончилось. Начальник политотдела отпустил воспитателей, меня попросил задержаться — собирался дать мне какое-то поручение. Взглянув на часы, он, видимо, вспомнив о Каменюке, приоткрыл дверь и пригласил мальчика.

Выслушав официальный доклад Каменюки, Зорин как-то по-домашнему улыбнулся и показал на глубокое кресло около своего стола:

— Садись поближе... Да я вовсе не приказывал являться, а просил передать тебе: мол, пусть зайдет, если хочет, есть одна интересная вещь.

Каменюка подозрительно посмотрел на нас, но в кресло сел, и оно ему очень понравилось: спинка высокая, а сиденье пружинит, как в кабине у шофера.

Полковник не спешил показывать «интересную вещь». Его все время отвлекали то телефонные звонки, то посетители. Каменюке, видимо, нравилось сидеть у начальника. Артем, вероятно, думал о том, что находится сейчас в штабе, откуда, как от сердца, растекается энергия по всему училищу, и мальчику приятно было, что такой большой командир, перед которым другие стоят вытянувшись, который, как на поле боя, отдает приказания, принимает доклады, кивком головы отпускает людей, просматривает бумаги, звонит по телефону, — что вот такой большой командир разрешил ему, Каменюке, просто сидеть рядом, отвел в этой кипучей жизни какое-то место и ему.

Вошла женщина, начала просить полковника принять ее сына в училище. Достала из большой черной сумки бумаги, свидетельствующие о том, что она жена погибшего Героя Советского Союза, что ее сын хорошо учится в 5-м классе, и все приговаривала: «Я вас очень прошу... Он так мечтает...»

Зорин внимательно выслушал ее, сожалея, развел руками:

— Должен вас огорчить, у нас еще три года, до первого выпуска из училища, приема не будет. Единственное, что я могу посоветовать, наведайтесь к началу учебного года: возможно, мы кого-нибудь отчислим за леность или недисциплинированность.

— Ну, это надежда плохая, — печально сказала женщина, — не думаю, чтобы у вас такие нашлись...

— Бывает, — неопределенно ответил полковник, — всяко бывает.

Я заметил, что Артем притаился в кресле, боясь пошевеливаться, напомнить о своем присутствии. Но женщина все же посмотрела в его сторону и, горестно вздохнув, ушла.

Полковник прикрыл дверь кабинета, возвратился к столу, прибрал на нем какие-то бумаги, папки и, подойдя к креслу Артема, спросил так, словно они уже век были знакомы:

— Ну, как жизнь, Тема?

У Артема от неожиданности задрожали губы:

— Ничего...

Я понял, ведь Темой, вероятно, его называли только дома. Еще тогда... давно... А здесь все: «Воспитанник Каменюка, выйдите из строя», «Воспитанник Каменюка, вам в наряд». Сейчас это обращение, от которого он отвык, которое, казалось, навсегда забыто, застигло его врасплох и как-то сразу размягчило.

Полковник сделал вид, что ничего не заметил, порылся в ящике стола, достал журнал «Пионер».

— Ты этот журнал читал?

— И-нет, — тихо ответил Артем.

— Вот я тебе его и припас, — искренне радуясь, воскликнул Зорин. — Здесь в конце журнала есть описание, как сделать самоходный танк. Любопытное сооружение! Иди сюда, давай вместе посмотрим, потолкуем. Простите, капитан, — обратился он ко мне. — Я попрошу вас зайти ко мне через часок, мы тогда на свободе побеседуем с вами.

У двери я оглянулся. Сблизив головы, они читали описание игрушки...

«Трудный случай» — воспитанник Артем Каменюка — заставил Беседу пересмотреть свой воспитательный метод. Где-то был изъян, чего-то он недодумывал. Снова

и снова анализируя свои действия, Беседа пришел к выводу: нельзя идти на поводу у событий. Воспитатель добьется настоящих успехов только в том случае, если у него есть система воспитания. Слепые, инстинктивные действия от случая к случаю положительных результатов дать не могут.

Почему человек, побывавший в Советской Армии, возвращается после службы, скажем, к себе в деревню, с новыми чертами характера?

Потому, что в армии нашей есть стройная, продуманная система полигического воспитания, единый тон, стиль, ясность цели и средств. Суворовские училища впитывают в себя лучшие традиции Советской Армии...

Беседа решил каждый вечер намечать план на завтра. Почему учитель физики или математики обязан идти на урок с детально разработанным планом, а воспитатель может уклоняться от такой продуманности труда? Сохраняя эти планы, легко будет в любое время восстановить, чем занимался месяц, год назад, увидеть, сбылись ли надежды и предсказания, последователен ли был в своих требованиях...

В небольшой книжке Алексея Николаевича появились записи:

«10 июня.

Принести Павлику книгу «Советский офицер» (особенно обратить его внимание на боевое товарищество). Показать Сене, как следует правильно подходить к начальнику. С Артемом побеседовать о его родителях, их честности. Проверить, выполнил ли он обещание не курить.

11 июня.

Побеседовать с Павликом, как он понимает слова Суворова: «Сам погибай, а товарища выручай».

Принести в класс альбом картин Верещагина «1812 год» (рассказать).

Артему дать поручение — сохранить запасные тетради, карандаши, ручки класса. Позаниматься на шведской лестнице с Дадико. Почему угрюм Максим? Спросить у отделения, что они прочитали в последнем номере «Пионерской правды».

12 июня.

Понравилась ли книга Павлику?

Взять с собой в город Сеню (поощрение).

Не перехвалил ли я Илюшу? Он в последние полгода топчется в развитии на месте. Поговорить с комсомольцами 1-й роты о братской опеке над моим (Каменюка!). Провести короткую беседу с отделением о «Святости знамени». Перенять у воспитателя Боканова: за пять минут до начала самоподготовки ребят подводить с ними итог дня, отмечать успехи, ставить на завтра краткую задачу каждому воспитаннику».

Сегодня мне Беседа рассказал:

Приблизительно через неделю после посещения Артемом начальника политотдела, вечером, Алексей Николаевич зашел в шинельную и услышал странные звуки, доносящиеся из темного угла. Казалось, кто-то всхлипывал.

Капитан обошел вешалку и увидел одиноко сидящего на подоконнике Артема. Каменюка вскочил, вытянулся, но повернул голову в сторону, и в сумерках лицо его нельзя было разглядеть.

— Что ты здесь делаешь? — удивился Беседа.

— Так... Ничего, — угрюмо ответил Каменюка и отвернулся, пряча лицо.

— Артем! — мягко, но решительно сказал Алексей Николаевич, — давай поговорим начистоту! Как офицер с будущим офицером!

Мальчик молчал.

— Не хочешь? — с горечью спросил Беседа. — Ну, дело твое, — и сделал движение, словно собирался уйти.

— Хочу, — тихо произнес Артем.

— Тогда садись, — показал на подоконник Алексей Николаевич и сел сам.

— Я знаю, тебе сейчас тяжело, но уверен — у тебя хватит силы воли преодолеть свои слабости. В прошлом году была у нас большая неприятность: воспитанника третьей роты Николая Пучкова исключили из училища за недостойное поведение. Выстроили всю роту, привели Николая в его старой одежде (форму суворовца у него отобрали). Он очутился перед строем, и сотни глаз смотрели на него, как на чужого, а он не знал, куда спрятать руки, отвести глаза. Ты представляешь, Артем, что чувствовал Пучков? А на-днях он прислал письмо своему воспитателю: «Я недостойн вам писать, но поверьте, только теперь я осознал, как много потерял». И знаешь,

Артем, почему он перестал быть суворовцем? — Алексей Николаевич придвинулся к Каменюке почти вплотную. — Он был неправдивым, а тот, кто носит военный мундир, не может быть нечестным. Ложь — самое отвратительное, что есть на свете! Ложь, как змея, все время извивается. Правдивый человек смотрит людям в глаза и в борьбе с неправдой имеет силу десятерых. Ведь именно борясь за правду, твои родители не пожалели жизни. И наша правда победила фашистскую ложь. Ты должен, Артем, походить на своих родителей.

Мальчик порывисто встал с подоконника.

— Товарищ капитан... Я буду — вот увидите...

— Верю тебе, — просто сказал офицер и тоже встал. — Конечно, будешь...

Отделение Алексея Николаевича, видно, уловило в свое время недоброжелательное отношение Беседы к Каменюке и, не сговариваясь, бойкотировало Артема.

Каменюка сидел один за партой, в игры его не принимали и избегали разговаривать с ним.

Артем всячески подчеркивал свое пренебрежение к бойкоту: ходил, засунув руки в карманы, и как-то по-особенному смачно сплевывал сквозь зубы.

Но когда все засыпали, он долго ворочался, вздыхал, уткнувшись в подушку.

В последние дни изменившееся к Артему отношение капитана какими-то неведомыми путями передалось отделению. Первым протянул Каменюке руку мира Илюша Кошелев. Будучи по натуре добродушным и общительным, Кошелев на уроке английского языка подсел к Артему.

— У меня новые марки есть, — шепнул тайно Илюша и достал из кармана прозрачный конверт.

Пошел ты... не нужны вы мне, — озлобленно огрызнулся Каменюка, но краем глаза покосился на конверт.

— Да ты не сердись, — примиряюще пододвинулся Кошелев. В это время Нина Осиповна строго посмотрела в их сторону:

— Прекратите разговоры!

В перемену Илюша протянул Каменюке кусочек смолы:

— Вот пожуй, как резина... — предложил он.

Артем хотел и здесь выдержать характер, но не устоял перед соблазном, небрежно взял смолу и стал жевать ее

с таким сосредоточенным выражением лица, словно прислушивался к чему-то.

— Ну как? — хозяйственно осведомился Илюша.

— Ничего, немного соленая, — снисходительно ответил Артем и дал черный комок жвачки белобрысому Сене Самсонову. — Попробуй!

С Семеном Гербовым — воспитанником из моего отделения — у Каменюки произошел разговор один на один. Артем был с ним в приятельских отношениях уже с полгода, с тех пор, как Семен научил его упражнениям на турнике. Гербову, видно, нравилась в Артеме воинственность. Спокойный по натуре Семен питал слабость к забиякам. Вечером Семен передал мне свой разговор с Каменюкой.

— Тебе сколько лет? — спросил Гербов Артема, когда они вместе перебирали колбы и пробирки в химическом кабинете.

— Скоро четырнадцать...

— Так ты скоро комсомольцем будешь, — как о деле само собой разумеющемся, сказал Гербов.

Артем помрачнел.

— Я не буду...

— Почему? — удивился Гербов. Он знал о бойкоте, знал, что теперь отношения в 4-м отделении налаживались. Ротное комсомольское бюро поручило ему воздействовать на Каменюку, а я даже посоветовал, как лучше это сделать.

— У меня с дисциплиной не ладится, — признался Каменюка и, открыв дверцу стеклянного шкафа, начал устанавливать колбы, внимательно рассматривая каждую из них.

— Да разве ты, если захочешь, не сможешь взять себя в руки? Конечно, сможешь! — убежденно произнес Гербов. — А знаешь, как бы это здорово получилось, если бы ты стал самым первым комсомольцем в своей роте. На комсомольские собрания к нам приходил бы, поручения комсомольские выполнял. Генерал спросит у майора Тутукина: «У вас в роте комсомольцы есть?», а майор ответит: «У нас, товарищ гвардии генерал, только один Каменюка на всю роту комсомолец». А? Здорово!

Артем польщенно улыбнулся, но тотчас же безнадежно вздохнул:

— Куда мне, — и с напускной оживленностью начал рассказывать, какую он книгу прочитал о папанинцах.

Но когда запирали химический кабинет, Каменюка вскользя спросил:

— А в комсомол как принимают?

Гербов рассказал о порядке приема и рекомендациях.

— Так мне никто их не даст, — разочарованно протянул Артем.

— Я первый тебе рекомендацию дам, капитан Беседа тоже, если ты достоин будешь...

— Нет, я достоин не буду, — с сожалением сказал Каменюка. — Ну пока, Сема, Ковалю привет передай!

Они расстались.

Вскоре произошло несчастье: старший отделения Беседы Кирюша Голиков упал с дерева и сломал правую руку в локте. Его отправили в госпиталь, наложили гипс. Хирург сказал, что едва ли можно будет выписать Голикова раньше чем через два месяца.

Капитан Беседа, определив Кирюшу в госпиталь, несколько дней думал, кого же назначить старшим воспитателем отделения? Перебирал имена... И, наконец, решил. А почему бы не назначить Аргема? Это поднимет его в собственных глазах, будет сдерживать... Хотя... назначение дезорганизатора старшим стало в некотором роде воспитательным штампом. Десятки душещипательных статей обыграли, обсмаковали этот прием, показывая молниеносное перерождение забияки, возведенного на командные высоты, в добродетельного агнца.

Но как отнесется отделение к назначению Каменюки старшим? Поколебавшись, Алексей Николаевич все же решил остановиться на Артеме: попытка не попытка.

Опасения оказались излишними. Каменюка быстро проникся чувством ответственности лица, облеченного властью, и принял ее как должное.

Отделение Беседы теперь оказывалось первым на построении, в классе стало чисто, а на уроке стоило только Каменюке грозно посмотреть на нарушителя порядка, и тот затихал. Командирский раж Каменюки был столь велик, что его приходилось даже умерять.

Однажды Артем во время игры отделения в волейбол подошел к площадке.

Авилкин, на развод! — издали крикнул Каменюка, повернулся и пошел, уверенный, что вызванный немедленно последует за ним.

Павлик же решил доиграть партию и азартно метался у сетки.

Артем через некоторое время, обнаружив, что Авилкин не идет за ним, возвратился, схватил товарища за шиворот и потащил его с криком:

— Ты что — военных порядков не знаешь? Развод — святое дело.

За Авилкина вступился Дадико, началась ссора, прекращенная подросевшим во-время Беседой.

Главное, что радовало воспитателя, — появившееся у Артема стремление быть предельно честным. Видно, он считал это неотъемлемой стороной своей служебной деятельности.

Не так давно капитана вызвали на сутки в Военный округ. Возвращался он оттуда в училище с беспокойным сердцем. Не случилось ли чего? Как они там?

Едва успел привести себя в порядок с дороги, затопился в училище. Шла самоподготовка. Первое, что бросилось в глаза Алексею Николаевичу, когда он открыл дверь класса, был Артем, сидевший за столом воспитателя.

Каменюка громко скомандовал:

— Отделение, смир-но! — и на высокой ноте доложил: — Товарищ капитан, в ваше отсутствие воспитанник Авилкин Павел не вышел на утреннюю зарядку — притворился больным. Воспитанник Самсонов Семен получил замечание на уроке английского языка. Никаких других нарушений дисциплины не было. Докладывает старший воспитанник отделения Каменюка Артем.

Он сделал шаг в сторону и независимо посмотрел на товарищей, энергично вздернув крутой подбородок с бороздкой посредине.

Воспитатель не успел еще выйти из класса, как к Артему подскочил Авилкин, посверкивая зеленоватыми глазами:

— Ябеда, доносчик...

Каменюка хладнокровно оглядел его с головы до ног:

— Если бы я побежал к капитану тайно... А я при всех сказал. — Он подумал и добавил: — Так комсомольцы поступают...

— Фискал! — кричал Авилкин.

— А ты — нарушитель дисциплины. Этому тебя Суворов учит? — спокойно ответил Артем.

— А ты, а ты... ворюга! — выкрикнул Авилкин.

Каменюка побледнел. Губы его жестко сомкнулись. Со сжатыми кулаками бросился он на Авилкина, приблизил свое лицо к лицу оскорбителя и, сверля его гневным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Если бы я не был старшим, я б тебе показал...

Но Павлик уже и сам перетрусил:

— Ты чего... ты чего? — забормотал он и вильнул к своей парте...

Возможно, отделение и не одобрило бы чрезмерного усердия старшего, но Каменюка не щадил и себя, когда дело касалось службы. В прошлое воскресенье, возвращаясь из городского отпуска, он сокрушенно доложил Беседе:

— Товарищ капитан! Воспитанник четвертого отделения пятой роты Каменюка Артем из городского отпуска прибыл. На улице мне было сделано замечание неизвестным лейтенантом, что нельзя держать руку в кармане и щелкать семечки, — совсем виновато добавил он, опуская голову.

Воспитатель пожурил Артема за упущение в поведении: «Не забывайте о чести училища», но на ротном построении похвалил.

— Он поступил так, как полагается военному человеку. Правдивость для суворовца — прежде всего.

Командирские обязанности вызвали у Артема стремление к «шику» в подаче команд. Он даже выработал свой «стиль» — произносил «фырна!» вместо смирно.

Пришлось увести «новатора» в пустой класс и там потребовать объяснения, что означает это нарушение строевого устава.

Артем стал было пояснять, что хочет покрасивее приветствовать. Беседа показал, как следует подавать команду, отдавать честь, и повторять эти уроки больше не пришлось.

Словом, к старшему трудно было придрататься, и товарищи подчинялись ему почти безропотно. Только Авилкин пытался временами сопротивляться, но, как правило, безуспешно. После одного такого бурного столкновения с Авилкиным Каменюка горестно сказал Алексею Николаевичу:

— Теперь я понимаю, товарищ капитан, как неприятно командиров, когда его приказ не выполняют...

— Ничего, не унывай, — подбодрил его Беседа, — капля камень точит...

За последний месяц даже внешний вид Каменюки изменился. Артем старался не давать повода для замечаний, поэтому исчез лихой залом шапки, напуск брюк, а ремень занял на талии надлежащее место.

Было бы преувеличением сказать, что Артем стал неузнаваемым, превратился в прилизанного пай-мальчика. Это был тот же Каменюка, ершистый, задиристый, своевольный — и вместе с тем уже не тот: какая-то внутренняя сила сдерживала его. И если верить знатокам человеческой природы, утверждающим, что глаза — зеркало души, то синие глаза Артема стали лучше: с них сходила муть преждевременной взрослости, недоверчивости к людям, и они снова по-детски, открыто и чисто начинали смотреть на мир.

ГЛАВНОЕ В РЕБЕНКЕ

У меня совпал выходной день с выходным днем Алексея Николаевича, и вечером мы вдвоем зашли на квартиру к Веденкину. Он усадил нас пить чай, и, конечно, скоро разговор перешел на тему, самую близкую всем нам. Начался он с моего признания.

— Я, когда ехал сюда, думал: вот если бы умный человек написал книгу «Наука воспитывать» и с суворовской четкостью изложил основу этой науки.

— Хотели иметь педагогический решебник? — иронически посмотрел на меня Веденкин и растопыренными пальцами отбросил со лба прядь светлых волос.

— Нет, почему же... — возразил я. — Но нечто похожее на справочник воспитателя. Конечно, каждый наш воспитанник — этот маленький человек — ставит перед собой неповторимую задачу, и для решения ее нужны не только знание законов воспитания, но и какой-то врожденный такт, тончайшая интуиция, а главное — вера в человека и уважение к нему... Но при всем этом существует ведь тысяча раз повторенный и оправдавший себя опыт... Надо дать слитки его...

— Это правильно, — подхватил Беседа, — и потом ни в коем случае нельзя сводить у нас дело к муштре. — Алексей Николаевич часто в разговоре отвечал каким-то своим мыслям, и мы уже привыкли к этому. — Ведь маль-

чики они, а не «фрунтовые» солдаты. Ну, требуй, но меру знай! Вот мой ротный возмущается: «не пойму, военное дело здесь главный предмет—или нет?» А яснее ясного, что главные предметы здесь русский язык... да арифметика.

Я подумал: вот мы — люди совершенно различных характеров, но сроднило нас одинаковое отношение к труду, вечная неудовлетворенность достигнутым и стремление подойти к решению вопроса с какой-то новой стороны.

Каждый из нас имеет своего «конька», который помогает находить путь к сердцу воспитанников.

У Беседы этот «конек» — умение мастерить планеры, какие-то перекидные мосты необычайной конструкции, самоходные орудия величиной со спичечную коробку, и в отделе Алексея Николаевича вечно что-то сооружают: пилят, измеряют, сверлят, скрепляют.

Веденкин славится осведомленностью в вопросах международных отношений. Он всегда знал самые свежие новости во время войны, помнил имена командующих фронтов и армий, знает фамилии президентов и премьер-министров чуть ли не всех стран света, названия политических партий и газет. В конце уроков он часто оставляет несколько минут для ответов на вопросы, и его засыпают вопросами.

Капитан Волгин отлично стреляет из личного оружия. Он организовал в роте кружок снайперов, и высшей наградой за удачную стрельбу ребята считают разрешение почистить и собрать оружие капитана.

Конечно, у каждого из нас есть и другие навыки, способности, но эти оказываются именно той «липучкой», на которую особенно охотно летят ребята в часы отдыха.

Почему-то в этот вечер на квартире у Веденкина мы все были как-то особенно оживлены и разговорчивы — ведь не часто имеешь возможность вот так собраться.

Речь зашла о том, что мы — воспитатели и преподаватели — сплошь и рядом сводим свою роль лишь к фиксации дурных поступков, в лучшем случае боремся с ними, а надо прививать, именно прививать, лучшие качества и предупреждать нежелательные. Мудрость медицины — «предупреждать болезнь легче, чем лечить ее» — полностью приемлема и для нас.

— Нет такого ребенка, — горячо отстаивал я, — у которого совсем отсутствовали бы положительные черты характера, благородные потенциальные силы. У одного их

больше, у другого меньше, но они есть у каждого, ибо все дети «люди в возможностях». И моя задача как воспитателя в том и состоит, чтобы выявить в ребенке главное, существо его натуры, и, опираясь на это главное, развивать остальные качества или придать новые. Плохих детей нет! Я в этом глубоко убежден, и кто не согласен с этим, отстаивает теорию вчерашнего дня. Есть дети, исковерканные воспитанием или средой, и только в очень редких случаях эта испорченность непоправима... Обнаружить доброе начало, самого ребенка убедить: «Ты хороший, я в тебе не ошибусь» — это не всегда легко, но это ключ воспитания. У одного главное — мальчишеская гордость, у другого — нежные сыновьи чувства, у третьего — бесстрашие в виде этаким бесшабашности, ухарства. Вот подумаешь...

На парадном раздался звонок. Алексей Николаевич пошел открывать, и через несколько секунд ко всеобщему удовольствию появился Семен Герасимович. Протерев стекла пенсне, он насадил его на остренький нос и радостно удивился:

— И вы здесь! А я, знаете, шел мимо, дай, думаю, на огонек загляну.

Все понимающие рассмеялись. Общий разговор за столом возобновился.

— Вот подумаешь, — возвратился я к своей мысли, прерванной приходом Гаршева, — раз в полгода все мы — воспитатели и преподаватели — пишем характеристики воспитанников. Скажем, на Владимира Ковалева написали характеристики десять обучающихся его преподавателей. В их оценке, конечно, много общего, но в каждой есть хоть одна черточка, замеченная только данным учителем. Почему? Да потому что Ковалев как личность предстал какой-то одной стороной Семену Герасимовичу, — Гаршев, соглашаясь, кивнул головой, — и совершенно иной — вам, Виктор Николаевич. И Семен Герасимович говорит — грубиян, а вы говорите — симпатичный юноша. И вы оба правы — да, симпатичный юноша, но порой превращается в грубияна.

— А все же что главное в натуре Ковалева? — спросил Веденкин.

— Желание стать образцовым советским офицером, — уверенно ответил я. — И он считает, что добьется этого, если будет походить на отца.

— А я вот у своего Авилкина силюсь найти это главное и никак не найду, — с огорчением произнес Беседа, — все натыкаюсь на ерунду какую-то...

— Так я вам подскажу, — просиял Веденкин и даже встал из-за стола. — У него есть бабушка, одна только бабушка на всем белом свете, и пуще всего он боится огорчить ее. Он мне как-то признался: «Я лучше какую хотите муку приму, чем бабушке обо мне плохо напишут». А? — торжествуя, спросил Виктор Николаевич.

— Не знал этого, — смущенно пробормотал Беседа. — Собственно, о существовании бабушки знал, но что он к ней относится так...

— Да, да, — закивал головой Виктор Николаевич, — он мне с месяц назад письмо свое показал: «Бабуся, пишет, ты по утрам, когда умываешься, разглаживай лицо, чтобы не было морщинок». Каков рыженький? — восхищенно спросил Виктор Николаевич.

— Не знал этого, — с еще более смущенным видом повторил Беседа, насупившись. — И, видно, очень многого о них не знаю, потому и... — он запнулся и не закончил (наверно вспомнил о своем рапорте генералу, об истории с Артемом, которой не мог себе простить).

— Детей лучше всего изучать во время игры, — снова сел за стол Виктор Николаевич, — здесь натуры особенно раскрываются. Они забывают о наблюдающих глазах, становятся самими собой. Между прочим, ваш Артем, — повернулся Веденкин к Алексею Николаевичу, — в играх щепетильно честен, он не зажилит очко, не передернет, но любит верховодить. А Павлик Авилкин вечно финтит — обжулить старается... Но у Рыжика есть еще и такое качество — он самолюбив: «Что я, хуже всех в классе?» И желая доказать, что не хуже, готов даже на самопожертвование.

— Это верно, — с облегчением согласился Беседа.

— У меня с ним тайный уговор, — улыбнулся Веденкин, — если он заерзает на парте, я молча перекладываю тетрадку для записи взысканий с правой стороны на левую. Опять заерзал — кладу около классного журнала, и это — последнее предупреждение, за которым должна следовать неприятная запись. Но до этого еще не доходило. Главное же, все происходит молчком, в чем дело — знаем лишь мы вдвоем, и я не расходую лишнего замечания, не отрываюсь от изложения урока.

— Да, кстати, чтобы не забыть, — обратился Беседа к майору, — ведь Кошелев-то мне так и не доложил о своем проступке.

— Что за проступок?

— Ничего особенного, но дело принципиальное, — нахмурился Веденкин. — Кошелев на моем уроке пытался читать постороннюю книгу, вообще это на него не похоже. Я приказал: после урока доложите своему воспитателю, что получили от меня замечание...

— Слушаюсь доложить!..

Проходит два дня.

— Воспитанник Кошелев, вы мое приказание выполнили.

— Никак нет...

— Почему?

— Забыл! — а сам боится глаза поднять. Видно, решил, что я не вспомню о своем требовании.

— Доложите сегодня и, кроме того, сообщите о невыполнении моего приказания.

— Слушаюсь...

Проходит еще два дня.

— Воспитанник Кошелев, вы доложили?

Молчит.

— Я спрашиваю, вы мое приказание выполнили?

— Нет...

— Почему?

Молчит и начинает слезы ронять. На этот раз доложить, кажется, духу нехватило. Теперь придется строго наказать. Я думаю попросить Тутукина, чтобы сократил ему срок летнего отпуска дней на пять.

— Ну, зачем же так строго? — неодобрительно протянул Гаршев. — Ведь вы, насколько я понимаю, говорили мне даже, что Илюша ваш любимый воспитанник.

— Вот в том-то и дело! — убежденно воскликнул Веденкин. — Кто скажет, что я не вправе иметь любимых? А раз любишь — ничего не прощай, требуй больше, чем с кого бы то ни было!

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИИ КАМЕНЮКИ

Самые древние старики не помнили, чтобы когда-нибудь в середине октября было такое обледенение. Сразу после дождя ударил мороз. Все деревья стали похожи

на плакучие ивы. Самые гибкие из них положили свои зеленые, в ледяной коре, головы на землю, и улицы вдруг стали светлыми. Тротуары исчезли — их загородила обледенелая чаща.

Непокорные деревья раскалывались с громким треском, валились с вывернутыми корнями. На сад тяжело было глядеть. Он припал к земле, стеклянно звеня сосульками, старчески поскрипывая толстыми стволами деревьев. А дождь все лил. Бесчисленные сосульки обрывали провода, покрывались глазурью заборы, падали телефонные столбы.

Вечером в училище не было света. Я проходил темным коридором. Нащупывая стену, завернул вправо, затем влево, решил, что нахожусь у выхода на улицу, но оказался в каком-то незнакомом месте. Вокруг бегали с громким криком невидимые человечки.

Я почти достиг выхода, когда какой-то мальчуган, нечаянно толкнув меня, стремглав убежал в темноту. «Эк, пострел», — только успел я подумать, как две барахтающиеся фигуры стали приближаться ко мне.

— Товарищ капитан, — слышался запыхавшийся голос, — привел!

— Кого? — удивился я.

— Авилкина привел.

— Да зачем он мне?

— Он вас толкнул и не извинился...

— А-а... это хорошо, что вы учите его вежливости, — одобрил я. — Полагаю, в другой раз он сам догадается извиниться.

— Так точно, догадаюсь... если бы за мной Каменюка не погнался, я б и сам вернулся.

— Ну, хорошо, хорошо, идите.

Навстречу вынырнул яркий фонарь, ослепил на несколько секунд. Оказывается, я был около класса Беседы, и с фонарем шел на меня он сам.

Я подождал, пока Алексей Николаевич уложит своих ребят спать. Вместе вышли из училища.

По дороге Алексей Николаевич жаловался мне, что успеваемость в его отделении продолжает оставаться низкой: у Авилкина по лености, у Самсонова из-за беззаботности, Каменюка учится по настроению. Выработался какой-то сомнительный «стиль» — припасать силы к финишу четверти, чтобы к концу ее как-нибудь притти

на тощих тройках. Даже Кирюша Голиков, давно возвратившийся из госпиталя с благополучно залеченной рукой, стал учиться гораздо хуже, увлекшись созданием летательного аппарата.

Алексей Николаевич обратился ко мне с просьбой помочь ему найти способ, каким можно было бы заставить отделение учиться в полную силу. Мы выработали план совместного наступления, согласно которому решительный удар лодырям должен был нанести комсомол первой роты.

Через несколько дней Беседа привел к себе в класс Ковалева.

— Вы утверждаете,—обратился капитан к ребятам,— что всем успевать невозможно. Вот спросите у воспитанника первой роты, почему в их отделении нет отстающих?

Беседа холодно посмотрел на класс и вышел, плотно закрыв дверь, словно подчеркивая этим нежелание вмешиваться в личные дела воспитанников.

Ковалева знали в училище все как отличного стрелка и ловкого фехтовальщика на эспадронах. На соревнованиях он побеждал противников быстро и красиво.

Володя начал сразу с главного.

— У нас все успевают потому, что ребята много работают, честно относятся к своим обязанностям...

— У вас ум развитый! — ввернул Авилкин.

— А вы что, недоразвиты? Умственно отстали? — язвительно спросил Ковалев. — Вы что хотите, чтобы первая рота вас как лодырей к себе даже близко не подпускала? Вы думаете, можно училище позорить, и вам сойдет? Так мы не позволим! Мне ребята поручили сказать, что если за эту неделю вы не выправите успеваемость, вход в нашу роту для вас закрыт. И на все училище прославим — скажем: вот люди без чести и совести. Дармоеды просто! Напишем о вас в Ставропольское училище и «Пионерскую Правду». На весь Союз опозорим!

Почему Володя назвал именно Ставропольское училище, он и сам не смог бы объяснить, но слова его произвели нужное впечатление.

Ребята сидели, нахохлившись. Они никак не ждали такого оборота разговора. Если бы те же слова произносил воспитатель, это было бы неприятно, но естественно. Офицер просто отчитывает, нагоняя дает и будет еще

не раз отчитывать и давать нагоняй: такая уже его обязанность. Но Ковалев — свой брат, ученик, это совсем другое дело.

— От имени отделения заявляю, — оскорбленно поднялся Илюша Кошелев, — что честь у нас есть...

— Посмотрим! — недоверчиво бросил Володя и на этом разговор закончил, но в классе после его ухода еще долго было шумно. Не сразу даже заметили в дверях воспитателя.

— Купить хотят! — крикнул Авилкин, но его голос потонул в возбужденных возгласах.

— Мы что же, хуже всех? — вскочил на парту Максим.

— Если захотим, докажем, — поддержал его Дадико, становясь на парту рядом.

— Тише! — вышел к столу Каменюка, — кто как, а я, вот провалиться мне на этом месте, меньше четверки теперь получать не буду.

— По русскому не получишь! — пискнул Самсонов.

— Не получу? — грозно спросил Артем, надвигаясь на Сеньку плечом.

— Получишь, — быстро согласился Сенька.

— Ребята, — старался перекричать всех Кошелев, — ребята! — Шум немного смолк.

— Я от имени отделения слово дал, так значит все решили! Возьмемся?

И все разом закричали, как кричали далекие предки на вече: «Возьмемся!».

...Так три дня прошло без единой двойки. Беседа ходил, потирая руки от удовольствия.

На четвертый день подвел Авилкин. Нина Осиповна вызвала его к доске.

По всему видно было, что Авилкин урок не учил. Но он скорчил мину человека, которому заранее известно о коварном замысле «срезать» его и который поэтому, не желая быть жертвой преподавательской придирчивости, предпочитает молчать.

Молоденькая преподавательница английского языка, первый год работавшая с детьми, решила, что и впрямь Авилкин, может быть, думает, что она нарочно задает ему трудные вопросы, и предложила еще два вопроса полегче, но и они, конечно, остались без ответа. И уже легкомысленная улыбочка напускной обиды заскользила

по губам Павлика, и он готов был всем видом показать, что «англичанка» придирается, и тем вызвать поддержку общественного мнения, когда с задней парты раздался чей-то настойчивый шёпот:

— Авилка, думай!

Павлик сразу съежился и, получив двойку, пошел, виновато помаргивая, к своей парте, сопровождаемый осуждающим шёпотом.

— Подвел, Авилка...

— Эх, ты...

В перемену, как только вышла за дверь учительница, Павлика окружили возбужденные ребята.

— Ну, чего пристали!—зло огрызнулся он, ища хоть один сочувствующий взгляд.

— Слушай, Павлушка, — сказал твердо Дади́ко, — если ты еще раз подведешь отделение — ты мне не друг.

— Иди к черту! — зло ответил Авилкин, — нужен ты мне... — Но, прочитав осуждение в глазах товарищей, пробормотал: — Да ладно! Выучу... — Уныло волоча ноги, он поплелся из класса.

За доской с нестертыми английскими словами собралось человек десять.

— Ребята, — строго сказал Каменю́ка, — генерал нашим капитаном недоволен.

— Врешь?

— Верно вам говорю—из-за нас недоволен. Говорит капитану: «У вас дисциплина плохая, успеваемость плохая, класс грязный, если так дальше будет — разжалую», — Каменю́ка дал волю фантазии.

— Да ну! — побледнел доверчивый Мамуашвили.

— Верно говорю, — мрачно произнес Артем.

— Ну, вот что, — решительно распорядился он, — Кошелев и Гурыба утром до подъема встанете, класс уберете, я проверю... Ты, Самсонов, правила по грамматике учи, а я на Авилку нажму, он у меня английский вы-ы-учит! Если кто дисциплину нарушит — капитана нашего подведет. Понятно?

Во время ночного дежурства по роте Алексей Николаевич имел обыкновение часа в три обходить спальни. На этот раз, выйдя для обхода из дежурки, Беседа с удивлением заметил яркий свет, пробивающийся из-за неплотно прикрытой двери его класса. Он тихо подошел и бесшумно приоткрыл ее. За учительским столом,

немного развалившись на стуле, сидел Артем и, держа перед собой учебник, спрашивал Авилкина, как Нина Осиповна:

— Уот ду ю ду ин зе монин? (Что вы делаете утром?)

Павлик морщил узкий лоб и, глядя искательно на Каменюку, с трудом подбирал слова:

— Уи плэй ин зе моунин (Мы играем утром.)

— Ну чего ты мелешь! — разозлился Каменюка, но, спохватившись, вежливо пояснил:

— Ит из нот коррект. Синк э литл. (Это неправильно. Подумайте.)

— Чего, чего? — переспросил Павлик, пододвигаясь к Артему.

— Синк э литл, — повышая голос, повторил Каменюка, и его пальцы нервно забегали по страницам учебника, точно так же, как у Нины Осиповны.

— Синк, синк, какой синк? — закричал Авилкин и пугливо осекся, увидя в дверях капитана.

К великому недовольству Каменюки Беседа приказал им итти спать.

Утром воспитатель рассказал о ночном бдении Нине Осиповне. Она растрогалась, обещала на уроке спросить Авилкина и поощрить прилежание. Павлик отвечал довольно прилично. Когда он сажился на место, Каменюка одобрительно прошептал:

— Пятьдесят восьмой гвардейский!

Это у Артема была высшая похвала, она указывала на размер шапки, а следовательно и головы удачно ответившего.

В перемену Павлик бегал в первую роту — доложить «Ковалю», что все в порядке.

После уроков Беседа задержал на несколько минут отделение.

— Товарищи воспитанники, — торжественно начал он, и ребята выпрямились, чувствуя по тону воспитателя, что сейчас будет сказано что-то приятное.

— В нашем отделении успевают почти все! Воспитаннику Каменюке Артему за ревностное несение службы и помощь товарищу объявляю благодарность с занесением в личное дело.

— Служу Советскому Союзу! — вздернул раздвоенный подбородок Артем и выгнул крутую грудь, украшенную раздобытым где-то значком танковых войск.

Капитан крепко пожал ему руку, и это было самым приятным для Каменюки.

С места поднялся Илюша:

— Я предлагаю написать в нашем «Дневнике чести» об Артеме, он поступил как настоящий товарищ.

Этот дневник, в красном золотистом переплете, имел пространный заголовок: «Что и кем сделано в защиту чести нашего отделения». Он хранился у Кошелева, и сами ребята решали, какой поступок достоин описания.

Илюшино предложение поддержали все.

— Теперь в нашем отделении только у Самсонова двойки по русскому языку, — сказал Беседа.

— У меня твердой тройки по русскому никогда не будет, — благодушно растянул рот Сенька.

— Я тоже так думал, — солидно повернул к Самсонову голову Авилкин, — а добился. Работать надо! — назидательно добавил он.

— Товарищи воспитанники, близко подошел к первой парте Беседа, — я хотел вот еще о чем поговорить с вами... вы иногда дразните Авилкина, не по-товарищески к нему относитесь, а он и сам человек хороший (апельсиновая голова склонилась почти к самой парте), и отец у него герой. Анатолий Иванович Авилкин командовал большим партизанским отрядом имени Ильича и погиб у пулемета, отражая атаку немцев, которых было в несколько раз больше, чем партизан.

— А партизаны немцев победили? — волнуясь, спросил Дадико.

— Победили. Ну, идите, побегайте...

...Артсэм проснулся до сигнала к подъему. Был день его рождения.

Дома этот день всегда приносил много радости. А в училище даже не знает никто, что у Артема такой день. Дела никому нет. Ну и пусть!

Раздражал свист спящего Авилкина.

Артем приподнялся и вытащил у него из-под головы подушку. Павлик, не просыпаясь, свернулся калачиком.

— Спит! — Каменюка с озлоблением запустил подушкой в Авилкина.

Павлик сразу же сел на постели.

— Что? Что? — растерянно забормотал он, не поднимая век в золотой пылице.

Звук трубы окончательно разбудили его.

— Мне сон какой-то снился, — аппетитно потянулся Авилкин, — будто я головой боксирую... На голове бо-ольшая перчатка...

В столовой Каменюку не оставляло мрачное настроение. Чай он пил без всякого удовольствия и ни с кем не разговаривал.

Завтрак подходил к концу, когда капитан Беседа, незадолго перед тем вышедший из-за стола, появился в дверях, торжественно неся высоко перед собой большое круглое блюдо. Все, кто был в столовой, с любопытством вытянули шеи, стараясь разглядеть, что на блюде. Офицер медленно опустил его перед Каменюкой. На блюде оказался торт, на белой поверхности которого шоколадным кремом красивыми буквами было написано: «Артему!».

Старший повар училища, в прошлом кондитер, тряхнул стариной и сделал торт на славу.

Артем немного привстал, не веря своим глазам. Он не находил слов, чтобы поблагодарить капитана, и только растерянно, растроганно бормотал

— Товарищ капитан... Ну, товарищ капитан...

— Желаю тебе, Артем, успеха в учебе, и чтобы ты поскорее стал комсомольцем. — Воспитатель обнял Артема и поцеловал его.

— Мамуашвили, дай нож! — громко потребовал Каменюка.

Решительным жестом погрузил Артем нож в торт и стал делить его на двадцать пять равных частей.

— Передайте тарелки, — великодушно сказал он, с некоторым сожалением поглядывая на исчезающие с блюда куски. Предпоследний, самый большой, на котором почти целиком сохранилась буква «А», он с грубоватой застенчивостью протянул Беседе.

...В классе, перед началом уроков, с легкой руки Илюши, подарившего Каменюке блокнот, начались именинные подношения. Голиков преподнес Артему альбом с портретами героев-танкистов, Мамуашвили — открытку с надписью «Привет от суворовца». Даже Авилкин подарил почти совсем новенькую резинку.

Но это были еще не все сегодняшние сюрпризы.

Майор Веденкин, войдя в класс, поздравил Артема и вручил ему книгу «Робинзон Крузо». Нина Осиповна

сказала, что сегодня предоставляет право самому имениннику решать, отвечать ему или нет; сама она вызывать его не будет.

Каменюка чувствовал необыкновенную легкость на уроке английского языка и, удивительное дело, непрерывно поднимал руку.

А когда вечером Беседа спросил у Каменюки:

— Ну, Тема, как день сегодня прошел?

Артем радостно воскликнул:

— Хорошо! Как дома! — и доверчиво улыбнулся.

ДНЕВНИК ВОЛОДИ КОВАЛЕВА

Я выписывал из клеенчатой тетрадки Володи то, что казалось мне наиболее интересным, но делал это без логической связи и последовательности.

На первых страницах дневника высказывания любимых авторов.

Вот слова лейтенанта Герасимова из рассказа Шолохова «Наука ненависти»: «Тяжко я ненавижу немцев за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под немецким игом».

Вот поучения Суворова; страстный призыв к жизни Николая Островского; гордое восклицание Радищева:

«Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении — суть качества, отличающие народ российский. О народ, к величию и славе рожденный!»

Стихотворение Володи:

Я слышу неумолчный шум станков,
Могучие гудки твоих заводов,
Движение тракторов и поездов
И гимн победный радостных народов.
Земля родная! Сколько пота, крови
В тебя вложил наш русский человек!
Мы строим мир, как день весенний,
новый,
Мы — дети Сталина, мы открываем век!
Все, чем живу, — твое: бери, родная!
Ведь в нас душа твоя — ее прекрасней нет,
Мы так прожить хотим — борясь и побеждая,
Как может лишь советский человек.

«Путь у меня впереди прекрасен, но не легок... Надо будет политически руководить людьми, заботиться о них,

обучать и воспитывать. И вот я часто думаю — есть ли в моем характере задатки для такого будущего? Я уже не ребенок. Мне более 16 лет — возраст, в котором вожди нашей революции уже сознательно вступали на путь борьбы за новую жизнь. Я стараюсь заглянуть в глубину своей души... Я вспыльчив, часто даже груб. Неужели я неисправим? Неужели не смогу воспитать свою волю, стать сдержанным? Сейчас я еще очень немного стою. Капитан нам говорит. «Вы должны воспитать в себе шесть основных черт характера, чтобы стать коммунистами-офицерами: беззаветную преданность Отчизне и партии, честность, храбрость, трудолюбие, выдержку, скромность».

Конечно, и многие другие качества важны, но эти — главные... Только обладая ими, я смогу сам воспитывать бойцов.

Армия стала моей семьей. Никакой другой жизни я не хочу. Я теперь твердо решил быть пехотным офицером. Конечно, мечтаешь о подвигах летчиков, о героизме разведчиков, но, трезво говоря, царица-то полей — пехота. Ей, конечно, трудно приходится, но кому на войне легко? Надо стать именно пехотным офицером. Я пришел к этому убеждению месяц назад. У нас в училище была встреча с Героем Советского Союза полковником Образцовым — командиром стрелковой дивизии. Он много интересного рассказал нам, и я подумал: общевойсковик должен быть всесторонне развитым, очень культурным офицером. Им труднее быть, чем узким специалистом. А я ищу самое трудное.

Нам, сталинским питомцам, предстоит развивать дальше новую военную тактику, мы напишем книги «Наука побеждать в XX веке», воздвигнем на границах СССР укрепления, непреодолимые для врага, а понадобится — повторим уроки отцов, не осраим их славы...

Сегодня майор Веденкин нам сказал (мне это очень врезалось в память): «На нас смотрят глаза всего мира. Наши поступки, успехи или неудачи определяют авторитет Советского Союза. То, что ты хорошо учишься, не только твое личное дело». А ведь это очень правильно!»

Отдельным листком вложено письмо:

«Здравствуй, родной мой мальчик.

Хотя ты и просил меня не упоминать в письмах о твоём поведении, говоря, что у тебя от этого портится

настроение, но я хочу еще раз и последний, возвратиться к этой теме. Знаешь, почему у тебя такие скачки? Ты не выработал в себе силу воли.

Дорогой мой! Ты знаешь, что нас с тобой всего двое: проклятый немец отнял у нас любимого нашего человека — твоего отца. Я все силы души, все чувства перенесла на тебя, в тебе сосредоточена вся радость моя. Поэтому мне больно будет, если ты вырастешь не таким, как мечтал папа. Поэтому мне тяжело было читать те строки письма, где ты выражаешь недовольство одним из воспитателей.

Володя! Твое училище — это твой дом, воспитатели — родители. Им партия поручила воспитывать тебя, поэтому надо беспрекословно выполнять все их приказания.

Если ты любишь меня как мать, уважаешь как старшего товарища, если дорожишь моим здоровьем — прислушайся к моим советам.

Крепко-крепко целую и обнимаю тебя. Твоя мама.

Р. С. Сыночка, я уже готовлюсь к твоему летнему приезду, и конечно, забирай с собой Семена. Я сделаю вам бисквит, такой же, как тот, что вы с папой таскали у меня из буфета».

«Почему-то с особенной ясностью возникло лицо отца — даже шрамик небольшой у правого виска увидел.

В последнее время я часто думал о папе. Хотя бы на могиле его побывать...

Мама писала — его похоронили в Сальске.

Я б сотни верст до Сальска прошагал
Уставшими, избитыми ногами.
Хоть на мгновенье грудью бы припал
К могиле, не украшенной цветами.
Я б горсть земли с твоей могилы взял,
К груди поднес дрожащими руками,
И с силой к сердцу бы ее прижал,
Чтоб запылало в нем святое пламя...
Клянусь, отец, я родине отдать
Высокое и чистое стремление —
Жить для нее, бороться, созидать —
Ведь в этом самое большое наслаждение!
Сейчас еще мне очень мало лет,
Но годы, месяцы бегут без остановки,
Сегодня — радость, счастья ясный свет,
А завтра — в руки мы возьмем винтовки.

И снова бой... Но нас не устрасит
Ни пули свист, ни смертный визг шрапнели,
И снова в грозной битве победит
Советский воин в простенькой шинели.
Советского не сбить богатыря!
Пройдет он смело через все ненастья,
Над ним трепещущее знамя ОКТЯБРЯ —
То наше завоеванное счастье.

С военных занятий мы пришли изрядно усталыми. «Штурмовали» полосу препятствий: с винтовкой в руках перелезали через забор, по тонкой жердочке пробегали над «пропастью», проползали на животе узкий — только-только втискивалось тело — туннель, прыгали в глубокую яму и выкарабкивались из нее.

При разборе «операции» наш капитан похвалил меня за ловкость, было чертовски приятно.

Надо сегодня же взять справочник по топографии и сделать выписки из раздела «Движение по азимуту». Интересно, есть ли в библиотеке что-нибудь о режиме бойца в походе?

В прошлое воскресенье наша и вторая рота участвовали в большом переходе.

Я плохо подогнал обувь — через час так натер ногу в подъеме, что она нестерпимо горела и, казалось, опухла.

На обратном пути от контрольного пункта едва шел. Присел, перемотал портянку. Боль на время утихла, но через несколько минут портянка «съехала» и боль возобновилась с новой силой. До училища оставалось километра три. Показалась грузовая машина — она подби-рала отставших.

— Подвезти? — выглянул из окна кабинки подполковник Островский.

— Нет! — с напускной бодростью ответил я и быстро зашагал, не хромая. Машина скрылась.

Все же до училища дошел сам, да еще сил хватило винтовку почистить.

Подполковник Островский как-то сказал нам: «Кавалерист, не почистив коня, не ляжет спать даже после самого тяжелого перехода, пехотинец сначала почистит оружие, а потом подумает о себе, — не нарушайте этот армейский закон».

Сегодня мы с Семеном после обеда вышли из училища и парком пошли к берегу реки. Падал снег большими хлопьями.

— Меня все же раздражает отношение к нам в училище! — сказал я. — Не поймешь, дети мы или военные. В библиотеке Бальзака попросишь — отказывают: «Рано вам еще», а подурочишься — выговаривают: «Вы ведь взрослые».

Семен, соглашаясь, кивнул головой, достал из кармана пачку папирос, и мы стали курить, хотя я в этом ничего приятного не нахожу и не затягиваюсь, просто за компанию курю.

Я почему-то раз мечтался. Представилось, что мы с Семеном служим в авиаполку. И вот на двух самолетах вылетели на выполнение задания. Навстречу девять вражеских «мессеров». Ну что ж, девять так девять — тем больше будет сбитых! Мы принимаем бой. Один за другим загораются самолеты с черными крестами. Но вдруг показался дымок в моторе самолета Семена, а потом и пламя. Сема прыгает с парашютом. Враги увидели приземлившегося парашютиста и бегут к нему. Тогда я бесстрашно делаю посадку, беру Гербова на борт своего самолета и взрываю ввысь перед самым носом беснующихся врагов.

— О чем ты думаешь? — вдруг спросил меня Сема.

— Так... ни о чем, — застигнутый врасплох, ответил я.

— А я сейчас думал... может быть, ты или я, или Савва, словом кто-нибудь из нас, лет через тридцать будет командовать парадом. Представляешь, Володька, ты — на вороном коне — объезжаешь замершие полки... И хотя ты меня не узнал, мне так приятно вспомнить, что мы когда-то вместе учились... за одной партой сидели...

Я с изумлением посмотрел на него.

— Ну и фантазер же ты, Сема!

Он виновато улыбнулся, стал сконфуженно оправдываться:

— Почему же фантазер... Ведь обязательно так с кем-нибудь из нас получится.

Позавчера я был задержан патрулем городского комендантского надзора за то, что на улице не поприветствовал сержанта. Двое автоматчиков повели меня по тротуару. Вдруг навстречу наш капитан. Я рванулся к нему, как к защитнику, чтобы вызволил меня и дал нагоняй бойцам комендатуры за придирку.

— Я шел... а сержанта не заметил...

Капитан выслушал мой торопливый рассказ, сказал, обращаясь к бойцам:

— Выполняйте свой долг! Было очень обидно, а вдумался — правильно».

ПРИЕЗД ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО

Кто из военных не знает этих часов ожидания начальства из центра? Уже получена телеграмма, что вот-вот должен прибыть инспектирующий с комиссией; уже поехал на вокзал кто-то из офицеров постарше; уже, кажется, все перетерто, вычищено, вымыто, — и все-таки какое-то беспокойство не позволяет сесть: кажется, что-то недоделано, как назло, вдруг задымила печь, которая никогда не дымила; как назло, снимая шинель, зацепил звездочку погона, утерял ее, и теперь надо переставлять звездочку с шинели на китель.

Дежурный то и дело выглядывает с крыльца: не едут ли? Все поглядывают на дежурного: не едут ли? Старшина в десятый раз обходит свои владения, тряпкой с керосином протирает шкафы и ручки дверей. Досыпают в коридорах ночью вымытые полы.

Но вот, наконец, взволнованный дежурный кричит с крыльца: «Едут!» — так, словно увидел за бортом мину.

Из машины выходит генерал, сопровождаемый в почтительном отдалении подполковниками и майорами. И сразу всем становится легче. Если к тому же инспектирующий, обходя классы, спальни, клуб и ружейный парк, удовлетворенно кивает головой, глаза у всех веселеют, появляется особая бравада в ответах.

...На этот раз в училище приехал от Главного инспектора сухопутных войск розовощекий с седыми висками, подвижной генерал. Своих помощников он разослал по ротам, на склады, в санчасть, на кухню, приказал проверить, как знают офицеры училища стрелковое оружие, уставы, а сам в первый же день приезда побывал на уроках Гаршева, Веденкина и Волгина.

Темой урока капитана Волгина была: «Пистолет-пулемет Шпагина». Волгин начал с рассказа о подвигах красноармейцев-автоматчиков на фронте, потом вывесил на доске схему ППШ, разобрал и собрал автомат и заставил каждого воспитанника сделать это же.

Приезжий генерал вместе с ребятами подошел к столу, где лежали части разобранного автомата. Спрашивал, показывая на амортизатор, на прицел: — А это для чего? А это? — и удовлетворенно кивал головой при ответах.

Потом тихонько, бочком придвинулся к «Боевому листку», висевшему в простенке между окнами, надел очки без оправы, стал читать:

Честь и слава армии любимой!
Ей по силе равной в мире нет.
Армии стальной, непобедимой
Шлем мы наш суворовский привет!

«Ишь ты, ишь ты», — бормотал чуть слышно. И опять — к столбцам. Рисунок: мальчишка в форме суворовца ковыляет на костылях, похожих на четверки. Подпись: «Это — Пашков», и пояснение: «У нас в стране, кто может дать пять, не довольствуется четырьмя».

После уроков генерал остался в отделении, расспрашивал ребят, как живут, о чем мечтают.

Пробыл в училище с неделю, а, уезжая, собрал всех офицеров, поделился своими мыслями:

— Мне на-днях воспитанник старшей роты, которого я вызвал на откровенность, сказал: «Товарищ генерал, ведь вот если вам каждый день и утром, и в обед, и вечером давать белоснежные блины с медом? Вы неделю, может быть, и будете довольны, а потом взмолитесь: «Дайте хоть разок перловую кашу!».

— И мальчик прав, товарищи! У вас день предыдущий зачастую слишком похож на последующий, а все однообразные формы работы, порой хоть и белые, хоть и с медом, но блины, одни блины и блины, и на языке вашем именуются они казенно-сухо — «мероприятия». Всё по расписанию, всё готовое, только глотай с точностью приема лекарства. Не поймите меня, что я выступаю против строгого распорядка. Отнюдь нет! Но ищите не избитых форм работы. Старшим ребятам нужно дать больше самостоятельности. Пусть воспитатели первой роты реже бывают в классе, а их воспитанники занимаются в более поздние часы, чаще сидят в читальном зале. Приготовил уроки — располагай своим временем, как хочешь. Старшие должны иметь больше прав, больше доверия и тогда к ним можно и должно предъ-

явить повышенные требования... Подумайте над этим, товарищи, — как-то очень просто, не по-инспекторски сказал генерал.

— И еще одно замечание по вашей работе. Не мне, солдату, учить вас, педагогов, что в развитии личности первостепенную роль должен сыграть физический труд. Не белоручек, не барчуков готовим мы. Наши офицеры — сыны трудового народа, и они должны знать цену труду и хлебу. Пусть это будет работа в столярной мастерской, в саду, пилка дров, уборка класса, уход за конем, приведение в порядок физкультурной площадки или катка. У воспитанников должна быть не только золотая голова, но и золотые руки... Вы согласны со мной?..





ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В ЛАГЕРЯХ

Август... Арбузное время... Загорают тыквы на крышах далеких хат, с полей доносится трудолюбивый рокот моторов.

На живописном берегу медлительной реки раскинулся полотняный городок. Палатки белеют меж деревьев роши.

После отпуска с его вольницей, домашним уютом, ребята возвращались в училище, чтобы на следующий день по приезде отправиться в лагери — километрах в 20 от города. Скоро привычная обстановка военного быта — часовые под грибками, «штурмы населенных пунктов», дневальство и вызов по тревоге — вобрала их в себя.

Ковалев приехал точно в срок — 1 августа в полдень. В дороге у него было небольшое приключение, на первый взгляд малозначительное, но рассказал о нем он мне, видно, с удовольствием.

На ростовском вокзале, где предстояла пересадка, Ковалев решил переночевать. Перед отъездом Володи на каникулы я, напутствуя его, сказал, что есть указание: суворовцы могут пользоваться на вокзалах офицерскими комнатами отдыха.

Володя купил в киоске «Курс автомобильного дела» и неторопливо поднялся по лестнице на второй этаж вокзала.

Выбрав дальний угол, он сел в глубокое кожаное кресло и стал перелистывать только что купленную книгу.

Его отвлек от чтения чей-то придиричивый голос:

— Вы попали не в свой зал!

Ковалев поднял голову. Перед ним стоял, с красной повязкой на рукаве гимнастерки, молоденький лейтенант и выжидающе смотрел на суворовца холодными глазами.

— Вам придется спуститься в зал рядового состава! — словно умышленно вызывая на неминуемую ссору, потребовал лейтенант. Ковалев вежливо встал, сказал спокойно, подавляя внутреннюю дрожь, какая возникает, когда предчувствуешь, что вот-вот произойдет непоправимый взрыв:

— Есть указание на то, что мы вправе пользоваться этой комнатой.

— Советую следовать моим указаниям и немедленно отправиться вниз! — как и прежде вызывающе бросил лейтенант.

Стиснув зубы, сдерживая готовую вырваться ответную резкость, Ковалев молча козырнул и медленно вышел в коридор.

— Грубиян, грубиян... что я место просижу, — оскорбленно шептал он, спускаясь по лестнице. До слез было обидно, но в то же время что-то успокаивало.

— Я о вас вспомнил, — позже сказал мне просто Володя, — вот, думаю, видел бы это все наш капитан, он остался бы доволен моей выдержкой.

Дело заключалось, конечно, не в картинах и коврах офицерской комнаты, и в зале рядового состава было чисто и уютно. Тут затрагивалось какое-то право, может быть, неписанное, может быть, наивное, но поступиться им не хотелось, а главное обидны были резкость и нетактичность лейтенанта. Ковалев обратился к коменданту вокзала, и тот, удивленно подняв брови, сказал:

— Да, пожалуйста, отдыхайте, там ведь пусто почти...

— Я просил бы вас дать на это письменное разрешение, — деликатно, но настойчиво сказал Ковалев.

Комендант пожал плечами, однако записку написал, подумав: «наверно, их там, в суворовском, учат все точно оформлять».

Ковалев возвратился на второй этаж. Минут через 15 откуда-то появившийся молоденький лейтенант снова воинственно налетел на него, звеня шпорами и клинком:

— Вы опять здесь!

Но, прочитав разрешение своего начальника, недовольно пробурчал:

— Баловство! Изнеженность! — и скрылся.

Ночевать Володя в полночь пошел все же вниз. Принципиально! И, укладываясь, цедил пренебрежительным шёпотом: «Плывать я хотел на удобства!».

Он спал хорошо и крепко, почти до самого прихода пужного ему поезда.

...Лагерный городок создан был три года назад руками воспитанников. Раньше, до войны, здесь находились казачьи лагеря. Когда суворовцы впервые приехали сюда, то кроме груд щебня, куч мусора, полуразрушенных сараев и захламленного берега реки, ничего не обнаружили.

Поротно принялись за работу — большие и малые, офицеры и вольнонаемные. Словно муравьи, тащили, разбирали, сваливали.

Огромна сила коллектива! За два дня оборудовали спортивную площадку, разбили клумбы, расчистили берег, соорудили трамплин для прыжков в воду. Радует глаза, меж палаток легли дорожки из гравия; подмазанные, свежeweбеленные сараи превратились в ружейный парк и кухню. На открытой, похожей на веранду площадке над рекой появились столы и скамьи столовой.

Перед палатками пролегла священная линейка — узкая полоса земли — место построения рот.

В обычное время ходить по этой линейке запрещалось. Только математик Сергей Герасимович Гаршев по штатскому неведению бродил как ни в чем не бывало по запретной зоне, выставив чуть вперед правое плечо, — будто его сносит течением. Месяц назад Гаршеву присвоили звание младшего лейтенанта, и он появился в лагере в офицерской форме, праздничный и торжественный.

Гербова приехал из отпуска на три часа позже Ковалева. Встреча друзей была радостной. Казалось, они не виделись месяцы: никак не могли наговориться. Семен с несвойственной ему живостью рассказывал

о своей деревне, — ее уже заново отстроили, — о товарищах и знакомых, с которыми был в партизанском отряде, о дедушке Платоне — единственном родиче.

— Ты представляешь, каков старик! — говорил Семен, высоко поднимая крутой, тяжелый подбородок и мечтательно глядя куда-то поверх головы Володи, — на прощанье обнял меня — борода до пояса, седая — обнял и говорит:

— Будьте смелыми и верными! — Это он всем нам.

Геннадий Пашков возвратился в училище с шестидневным опозданием, предусмотрительно обезопасив себя справкой о том, что болел. В справке болезнь именовалась значительно и малопонятно: гастроэнтероколит. Геша мало походил на больного. Круглое, с нежной кожей лицо его розовело.

Пашков был взвинчен летними впечатлениями и возбужденно, то и дело приглаживая ежик темных волос, расправляя гимнастерку вокруг ремня, рассказывал о новой легковой машине отца, о мотоцикле, шёпогом, с озираньем, о своих сердечных победах, и трудно было понять, где кончалась правда и начинались бахвальство и вымысел.

Внешне взвинченность Геннадия проявлялась в том, что он высокомерно, словно что-то разглядывая, поворачивал голову в сторону при встрече со старшиной, чтобы не приветствовать его, а капитану Волгину из второй роты на замечание — застегнуть воротничок гимнастерки, — обидчиво скривив припухшие губы, ответил небрежно:

— Виноват... учту ваше замечание...

...Училище приехало в лагери почти на месяц. Вот где раздолье для воспитания смелости, выносливости, исполнительности!

Поздний вечер... стоит на часах у моста над рекой Сеня Самсонов... Он вырос, вытянулся, но белесые брови попрежнему бесцветны, словно налепили на них белые полоски пластыря, а губы, обычно расплывающиеся в широкую, добродушную улыбку от уха до уха, сейчас плотно сжаты.

Деревья в темноте похожи на великанов в накинутых плащ-палатках. Великаны дремлют. Провыла где-то собака. В роще кто-то крикнул «гук-гук!» и захохотал,

Знает Сеня, что сова, а страшно — рука крепче сжимает винтовку.

Кто это движется у моста?

— Стой, кто идет! — как можно внушительнее окликает Самсонов. Отлегло от сердца — это капитан Беседа. Алексей Николаевич удаляется удовлетворенный: трепетный кролик мужает. Сенька опять остается один; через час смена постов. Вдруг с чердака штаба, что стоит напротив моста, глухой голос:

— Пой-дем! Пой-дем! На кладбище!

Загораются в темноте два зеленых глаза. Ничего, ничего, не робей, храбрый тот, кто умеет подавить свою трусость! Суворову в бою и не так страшно было, а он любил повторять: «Дрожишь, скелет, ты еще не так задрожешь, когда узнаешь, куда я тебя поведу».

А утром выясняется: сыч кричал с чердака штаба.

Река отделяет лагерь от большой деревни — Яблоневки. Узкий, дрожащий мост соединяет два берега, но во время лагерей штатским ходить по этому мосту строго запрещается — рядом колодец, штаб... Поэтому у моста часовой.

...К обязанностям часовых ребята относятся чрезвычайно ревностно. Памятуют слова Зорина: стоять на часах — значит выполнять боевое задание.

Вот под грибком с винтовкой Артем Каменюка; он не обращает внимания на купающихся неподалеку товарищей, сурово сдвинул брови.

Какой-то житель деревни — бородач мужчина в вышитой рубашке под коротким пиджаком — пытается пройти по запретному мосту. Дошел уже до половины, когда Артем, выйдя из-под грибка, властно кричит:

— Назад! Прохода нет!

— Да я... — начал было объяснять бородач и, видно, затрудняясь подобрать форму обращения, запнулся — понимаете, гражданин... «Гражданин» приказывает еще неумолимо:

— Назад! Прохода нет!

— Товарищ военный, — просит бородач, прикладывая ладони к груди.

— Нельзя! — и Артем устрашающе выдвигает вперед незаряженную винтовку. Штык грозно блестит на солнце. Бородач сокрушенно разводит руками и, улыбаясь, отступает.

Подъем в шесть часов. После общей физзарядки и завтрака роты снова выстраиваются позади палаток. Горнист переливчато выводит: «Приступить к занятиям!»

Командиры рот подают громкую команду:

— На занятия шагом — марш!

Роты, подтянутые, свежие, бодрые проходят под оркестр, мимо генерала, неизменно стоящего в восемь ноль-ноль у входной арки лагерного городка.

После нескольких напряженных часов перебежек, ползанья, стрельб отдых кажется особенно сладким.

Капитан Беседа и Ковалев уводят группу малышей на речку — учить плавать. Пятьдесят велосипедистов отправляются в дальний рейд, а Виктор Николаевич Веденкин азартно играет с ребятами в городки. Часом позже, сказав «хватит... пойдемте... Мы — разведчики», он увлекает воспитанников в рощу. — Ведь вот человек — все знает, — восхищаются ребята, — настоящий следопыт! Присмотрелся к земле, усыпанной прошлогодними листьями, и говорит:

— Часа два назад здесь человек прошел.

— Как вы это определили? — ахают мальчики.

— А очень просто, смотрите, кругом листья высохли на солнце, только с обратной стороны влажные, а там, где недавно человек прошел, листья сырые: он их подошвами перевернул, и они не успели просохнуть. Ясно? А вы знаете, как определить стороны горизонта по окраске ягод?

...Ребята с увлечением отдавались военной жизни. Жадно присматривались к порядкам в соседних лагерях арtpолка. Суворовцам разрешалось присутствовать на полигоне во время учебных стрельб. Мальчиков приводили в восхищение слаженность работы оружейных расчетов, четкие команды офицеров.

Весь уклад жизни в лагере — дежурные пловцы у реки, торжественная зоря в честь приезда знатного гостя, зоря с фанфарным сигналом «Повестки», ракетами, залпом из пистолета и винтовок — весь уклад этот был дорог каждому суворовцу.

Мы стараемся усилить струю военной романтики. Устроили дальний поход с приготовлением на привалах пищи из сухого пайка, с настоящей конной разведкой. Перед выходом подполковник Островский поставил «боевую задачу», назвал день и час возвращения.

Разведка, возглавляемая капитаном Зинченко, ночью выследила и захватила «неприятельскую» кухню, а трофеи — копченую колбасу и кашу — притащила в свой «батальон». Кашу милостиво возвратили «противнику».

Отличился как разведчик мой Андрей Сурков. Он где-то в селе раздобыл женскую одежду, нарядился в нее, покрыл лицо белилами, какими обычно предостерегают деревенские женщины лицо от загара, низко на лоб наклонил косынку и превратился в молоденькую миловидную колхозницу. Андрей пробрался в хату, где заседал штаб «неприятеля», разузнал все планы его и благополучно вернулся в свое подразделение.

Из похода возвращались цепью, по одному, сначала узкой степной, потом горной тропкой. До лагеря оставалось километров двенадцать.

Жара стояла такая, что воздух казался раскаленным. Мокрые гимнастерки ребят прилипли к телу, карабины казались стопудовыми. Мешало все: лопата, пустая фляга, подсумок. Пересохло во рту. Пот струился по щекам. А солнце припекало все сильнее. Не шелохнется листва, одуряюще однообразный стрекот кузнечиков преследовал, как кошмар. Но вот, наконец, привал у ключа. Подбежать к нему, подставить пересохшие губы и пить, пить. Пашков первым рванулся. Володя предостерегающе крикнул:

— Не пей!.. Будет хуже.

Не советовал пить и я, хотя и не запретил никому — пусть убедятся сами. Геннадий прильнул к воде. За ним уже выстроился ряд жаждущих. Володя, мучая и проверяя себя, сел недалеко от ключа. Глаза, не отрываясь, смотрели на пьющих. Но выдержал.

Двинулись дальше. Кто пил — теперь еще больше изнывал от жары, истекал потом. Хромающего Пашкова подобрала машина санчасти. Андрей едва плелся, но когда Володя протянул руку к его карабину, предложив:

— Давай понесу немного, — Сурков, оскорбленно отпрянув, приободрился.

— Брось, выдумал... я сам...

Наконец добрались до лагеря, разошлись по палаткам.

Володя снял карабин, флягу с поясного ремня, развернул скатку, повалился на койку. Благодарь! И вдруг решил снова испытать себя.

Медленно стал натягивать гимнастерку. Семен, в трусах и майке блаженствовавший на соседней койке, удивился.

— Ты куда?

Володя объяснил, что хочет еще пройти восемь километров — до станции и назад.

Семен стал отговаривать его, но хорошо зная характер друга, который уж если что решит, ни за что не отступится, в конце концов сердито сказал:

— Ну, черт с тобой, стойк, и я тогда иду...

Один случай в лагерях навел меня на мысль, что следует больше уделить внимания дисциплине в исполнении общественных обязанностей.

Перед выходом в поход я подозвал Андрея Суркова и дал ему поручение: в пути, на привалах, выпустить «Боевой листок».

Затем в хлопотах о делах, связанных с подготовкой к походу, я забыл об этом и вспомнил о задании, данном Андрею, только тогда, когда мы почти достигли населенного пункта, избранного конечной целью. Подзываю Суркова: «Дайте мне прочитать «Боевой листок!» — «А я его не выпускал, — беззаботно отвечает он, — забыл цветные карандаши взять».

Ясно было: «редактор» несерьезно отнесся к общественным обязанностям, а возможно, умышленно освободил себя от них. Наложить дисциплинарное взыскание? Что-то удерживало меня от этого... В конце концов Сурков получил не приказ, а общественное поручение. Тут следовало действовать по линии общественной.

По возвращении я устроил разбор похода. Отмечая отрицательные стороны, сказал:

— Андрей Сурков подвел всех нас: он не выпустил «Боевой листок»; недостатков у нас в походе было бы гораздо меньше, если бы Сурков серьезно отнесся к полученному политическому заданию. Вы знаете, что на войне уделяется очень большое внимание политической подготовке бойцов. В ходе боя тоже ведется политработа. Во время Отечественной войны это бывало так: вот идет бой с танками. В напряженные, решающие минуты в окопе появляется «Боевой листок», его из рук в руки передают бойцы. В нем всего несколько строк: «Сержант Николаев только что совершил подвиг — прямой наводкой подбил два вражеских танка. Слава герою! Берите

пример с товарища Николаева!». Вот что такое «Боевой листок» в армии, воспитанник Сурков... Через несколько лет вы станете не только строевыми командирами, начальниками, но и политическими, идейными руководителями солдат, вы будете направлять работу партийной, комсомольской организации подразделений... И политической работе следует учиться сейчас. Что касается воспитанника Суркова, то мне, видно, придется лишить его на месяц права выполнения общественных поручений...

По глазам ребят я видел, что они ждали другого: выговора, может быть, даже дисциплинарного наказания, но не такого оборота дела. Да и сам Андрей — юноша самолюбивый, но справедливый в оценке своих поступков и дорожащий авторитетом среди товарищей, — был, видимо, очень огорчен.

Все время, пока я говорил, он сидел, мрачно насупившись, опустив глаза, когда же услышал «придется лишить на месяц права выполнения общественных поручений...», не выдержал:

— Разрешите сказать!

— Да...

— Товарищ капитан, я заслуживаю наказания, так как несерьезно отнесся к поручению, но прошу не отстранять меня... вот посмотрите...

И правда, после этого разговора «Боевой листок» нашего отделения стал лучшим в училище; это было даже отмечено приказом генерала во время смотра стенной печати.

Особенно увлекало ребят в лагерях приобретение знаний, практически полезных военному: как измерить реку, не переходя на противоположный берег, как распознать по ряби на воде, где брод, как быстро влезать на дерево, пробегать через «пропасть» по бревну, бесшумно ходить — сначала наступая на пятку, а потом на всю ступню, или ползти на четвереньках, не дотрагиваясь носками до земли.

«Лишения походной жизни» привлекали ребят. Впервые, в этот выезд в лагеря, офицерам удалось настоять на том, чтобы командование училища не брало с собой синклит поваров, армию прачек и кухонных работников.

Что может быть интереснее: самим разделать баранью тушу, собрать валежник для кухни, быстро установить палатку.

Любимой поговоркой юных армейцев стало: «Чем труднее, тем интереснее». И если во время стрельб в поле их настигал проливной дождь, они умоляли офицера: «Разрешите дострелять».

Каждый день один из взводов старших рот уходил на полевые работы — помогать колхозу убирать урожай. Возвращались вечером пыльные, усталые, но счастливые от сознания сделанного, от того, что чувствовали себя работниками великой трудовой армии.

В неурочный час мылись в речке, при ярком свете луны, шли строем в столовую мимо палаток, из которых с уважением и мальчишеской завистью смотрели на старших малыши. С аппетитом уплетали оставленный «расход» — порция обеда и ужина, и повар внимательно спрашивал:

— Может, хотите еще борщеца, дорогие наши работники?

Алексей Николаевич Беседа много возился в лагерях со своими малышами: он то затевал с ними игру «Вежливость», то проверял исполнительность ребят — вызовет Павлика Авилкина из кино во время самой интересной части; объявит сбор по тревоге в разгар купанья. Его «малыши» сейчас в том неопределенном возрасте, когда какая-то сила все вытягивает, вытягивает их вверх, голос то басит, то дает петуха, руки длинные и не знают, куда спрятаться, а с шеи еще не сходит цыплячий пушок. Пройдёт годик-два, и раздадутся плечи, округлятся локти, заиграют налитые мускулы, станут все они ладными да стройными. Пока же многие из них — какие-то нескладные, с острыми коленками, длинными шеями.

...Рано утром Алексей Николаевич повел своих «воинов» в поход.

У каждого из них компасы, самодельные планшеты из фанеры, карты местности с подготовленными данными для движения по азимуту. Беседа заранее спрятал под камнями, в дуплах, записки: их должны разыскать разведчики.

Часа через полтора разведчики достигли пригорка, и Алексей Николаевич, подождав, пока сюда подтянутся все, усадил ребят отдыхать под старой сосной. Мальчики делились впечатлениями, рассказывали ему возбужденно, и так подробно, словно он сам ничего не видел, как

обнаружили самую хитро запрятанную записку, каким догадливым оказался Самсонов. Алексей Николаевич дал выговориться и спросил, обращаясь ко всем:

— Вот сказали бы вам — нарисуйте картину. Поглядите, что вы выбрали бы самое красивое?

Ребята стали внимательно осматриваться вокруг: кора сосны, под которой они сидели, казалась медно-красной у верхушки, возле пышной зеленой хвои, а внизу серой, потрескавшейся; кое-где, на земле, виднелись головки грибов, будто выглядывали с любопытством: матовые, бархатистые, сургучнокрасные и бурые; табуны коней паслись по ту сторону железнодорожного полотна возле пламенеющего леса. Вдоль полотна тянулись телеграфные провода, похожие на нотные строчки. И очень в лад этой картине капитан начал декламировать:

Я люблю свои березы,
Свои леса, свои луга
И ночи летние и грозы...

До чего хорошо!.. Вот так сидеть, притихнув, и слушать, слушать. Потом заговорили, все разом.

Было выдвинуто по крайней мере с десятка сюжетов предполагаемых картин. Алексей Николаевич одобрил некоторые из них и, встав, сказал: — А я все же нарисовал бы картину «Осень на советских полях». Поглядите, вон плывет степной корабль — комбайн, вон высятся мощные столбы с проводами тока высокого напряжения. Это ведь новая деревня, созданная нами... Значит нужны и новые картины. Он любовным взглядом окинул расстилающийся пейзаж, и ребята тоже по-иному поглядели на все.

— А теперь, — весело предложил Беседа, — найдите среди молодых сосен своих ровесниц!

И рассказал, как это делать по мутовкам — кольцевым расположениям веток вокруг ствола.

Мгновенно, словно испуганная воробьиная стая, все разбежались. Послышались возгласы:

— Нашел! Ей как мне 14 лет!

— А вот 13!

— Товарищ капитан, а сколько сосна живет?

— До трехсот лет.

— Ого!

— Ребята! — обратился к ним Беседа, — а кто из вас читал книги про природу?

— Про природу не люблю, это только девчонки любят, — презрительно заявил Каменюка.

— Очень плохо, — огорченно сказал Алексей Николаевич, — что не любишь родную природу. Разве можно не любить красавицу-березку, нашу ковыльную степь, дремучие леса и многоводные реки? Ты ведь и их будешь защищать. Военный человек должен особенно дружить с природой, и тогда она станет его первой помощницей.

— Вы знаете, что такое ночь в военном значении этого слова? Нет? Ночь для нас означает: огонек спички светит почти за полкилометра, как яркий фонарь; хочешь увидеть силуэты — припади к земле. Вот мы с вами тоже пойдем в ночную разведку, и вы узнаете, как важно разбираться в звездах и ветре, деревьях и тропках...

— А как не заблудиться ночью в лесу, — расскажете?

— Обязательно! — пообещал офицер. — Давайте сейчас вслушаемся в звуки, — предложил он, — интересно, кто что услышит? Только вы затаите дыхание на минутку, тогда лучше услышите.

Где-то пели задорную песню молодые голоса, слышался далекий гул самолета. Донесся едва уловимый плеск весел о воду.

— Я слышу, — тихо сказал Каменюка, — как птицы рассекают воздух крыльями...

— Ты услышал очень важное, — удовлетворенно кивнул головой капитан.

Потом разводили костер и кипятили воду в котелке Каменюки: это был его триумф, и, восторженно поблескивая синими глазами, сдвинув фуражку в белом чехле на макушку, Артем, подпрыгнув несколько раз на одной ноге, воскликнул:

— И-эх, ты.. ы... жизнь походная!

ДЫХАНИЕ РОДИНЫ

Дыхание нашей великой Родины явственно ощущается за высокими стенами училища. В стране, победоносно завершившей войну, задымили тысячи строек, и так же часто, как слышалось год назад: «форсиро-

вали», «штурмовали», «сломили» — теперь звучит: «построили», «пустили в ход», «подняли из руин». Это воспринимается, как сводка с поля боя. Народ сражается за пятилетку. Страсть этой борьбы охватывает и училище: появились стенды с цифрами пятилетки, комсомольцы организуют субботники помощи соседней стройке, устраивают культпоход в колхоз.

В этой органической связи с жизнью страны заложены огромные воспитательные возможности. Суворовец чувствует себя членом большой семьи, живет ее интересами, подчиняет ей свои личные устремления, ощущает свое место в великом движении вперед. На комсомольском собрании с повесткой дня «За что я люблю свою Социалистическую Родину» юноша говорит: «Я чувствую себя участником всех строек нашей страны. Я сам как бы с ними расту...»

Чудесно сказал о задаче такого общественного воспитания один учитель: «Когда дети начинают в своих поступках руководствоваться общенародными мотивами, работа наша приобретает возвышенный характер».

В этом месяце нам удалось побывать с ребятами на большом металлургическом заводе, в гостях у артиллеристов и провести интереснейшую встречу со знатным оружейником страны.

Завод, на который мы приехали, поразил своим размахом: неустомимо бежали вагонетки; ревели, сотрясая фундамент, воздуходувные машины; пронзительно визжали пилы; гигантские челюсти с хрустом раскалывали металлические орехи и, казалось, выплевывали скорлупу. Золотые брызги металла рассыпались обманчиво безопасными звездами; ящерицами вихляли на железном полу ослепительно красные полосы.

И везде, надо всем — у руля, рычага, крана — возвышался спокойный и умный властелин — человек. Движению его рук покорно подчинялись металлические громады.

Это была великолепная картина передовой, мощной индустрии.

В училище возвращались ночным поездом, но заснуть сразу никто не мог. Слишком ярки были дневные впечатления.

Ковалев и Гербов, примостившись на верхней полке, вели разговор.

— Я, Сема, думаю—ведь это геройство каждый день так работать!

— Ну еще бы, — согласился Гербов, — я сегодня в цехе с одним молодым токарем говорил, и, знаешь, как-то неловко стало. Мы ходим между ними — экс-курсни-ча-ем, а они, видел — как работают!

— Ну, насчет экскурсничания это ты напрасно, — возразил Ковалев. — Мы потом отблагодарим свою страну честной службой. Ты не думай, Сема, что труд у нас легкий будет — походы, лагеря, сборы, тревоги, смотр, обучение солдат. Я вовсе не предполагаю, — серьезно сказал он, — так сразу маршалом стать. К этому, знаешь, как долго идти придется да по кручам...

В вагоне наступила сонная тишина, я прикорнул. Проснулся оттого, что кто-то заботливо укрывал меня. Приоткрыл глаза: Семен, боясь разбудить, осторожно поправляет сползшую было с меня шинель; проверил, убедился, что все в порядке, и полез на верхнюю полку.

С командованием артучилища мы заранее договорились о цели нашего приезда.

Экскурсия должна была показать суворовцам образец идеального воинского порядка. В сияющих спальнях дневальные так докладывали дежурному офицеру, что Пашков шепнул восхищенно Лыкову:

— Здорово!

— Смотри, порядок какой! — так же тихо ответил Лыков, оглядывая ряд заправленных коек. — Нам еще далеко до этого...

— А трудно придется, когда курсантами станем, — задумчиво пробормотал Пашков.

— Да, не то, что у нас, — зная, что Пашков побаивается строгостей воинского режима, припугнул Василий.

Страстный почитатель строевой службы Лыков старался запомнить все: как щелкают курсанты каблуками, поворачиваясь кругом; как, придерживая шашку на бедре, подбегают к офицеру при оклике, как держат руку у шапки. И, наверно, решил про себя, что тоже будет «припечатывать» подошвы, а докладывая, приставлять правую ногу к левой замедленно, словно приволакивая — получалось как-то особенно небрежно-молодцевато.

В артиллерийском парке всех поразило равнение стволов и лафетов орудий. На орудиях ярко выделялись боевые звезды Отечественной войны. Высокий худощавый лейтенант, звеня шпорами, провел суворовцев в конюшню. Здесь тоже царил порядок: глинобитный пол был безукоризненно чист, на столбах поблескивали термометры. Тишину нарушали кони: они перебирали копытами и похрустывали. Лейтенант подошел к стройному красавцу, над которым висела дощечка с надписью «Строптивый», любовно погладил его черный лакированный круп и попросил, обращаясь к Василию:

— Дайте, товарищ воспитанник, носовой платок, посмотрим, нет ли на конях пыли.

Лыков торопливо полез в карман, вынул, но тотчас же смущенно спрятал платок не первой свежести.

— Ну, ладно, — лейтенант сделал вид, что ничего не заметил. — Если у вас он далеко, я свой достану, — и офицер развернул белоснежный платок. — На каком коне проверим? — спросил он у Лыкова.

— На этом, — кивнул Василий на вороного, почему-то решив, что на нем скорее, чем на других, будет обнаружена пыль. Офицер несколько раз провел платком по крупу коня, но платок не утратил своей белизны.

Потом мы пошли смотреть рубку лозы. День был холодный, ребята даже в шинелях поеживались, а курсанты и в гимнастерках, видимо, не ощущали холода. Гибким движением перегибаясь с коней то вправо, то влево, они точным взмахом сверкающего клинка срезали лозу; чуть подавшись вперед, брали высокие препятствия; красивой рысью проходили по кругу. Все тот же лейтенант подъехал на коне к суворовцам и спросил с вежливой улыбкой:

— Не хочет ли кто-нибудь из вас показать умение верховой езды?

Это была обычная любезность хозяина, не рассчитанная на обязательное согласие гостей, скорее даже предусматривающая отказ. Но вперед смело шагнул Снопков, поднял вверх круглое лицо с широким, похожим на репку носом.

— Если разрешите... — он немного пыжился, чтобы казаться взрослее и выше.

Рядом со Снопковым, подбадриваемые взглядом товарищей, стали Лыков, Ковалев и Гербов. Все они были

в училище на хорошем счету у преподавателя верховой езды — капитана Зинченко.

Когда подвели четырех статных скакунов, ребята в первое мгновение немного оробели. В училище им приходилось иметь дело с флегматичными, покорными лошадами. Но ожидающе смотрели сотни глаз курсантов, секунда — и суворовцы вдели ноги в стремя, взлет — и маленькие черные фигуры вросли в седла. Сначала они сделали пробежку по кругу. Впереди четверки, по-казацки привстав на стременах, легко скакал Снопков. Лицо его покраснелось, глаза сияли. За ним, старательно припоминая наставления капитана Зинченко, тяжелоовато шел Лыков, сдерживая грызущего удила лобастого коня.

Ковалев — тонкий и стройный — был, пожалуй, изящнее всех. В его посадке чувствовалась непринужденность будущего хорошего наездника.

Все они в общем вполне благополучно выдержали этот экзамен по верховой езде и гордые возвратились к своим товарищам. Спрыгнув с коней, стали делиться впечатлением. Слышались возгласы:

— Носки не надо так глубоко в стремя...

— Как препятствие взял — откидывайся на седло...

— И подбирай поводья.

Авилкин стремительно, слегка пригнувшись, бежал по плацу и кричал:

— Ребята! Герой труда приехал... Ребята! Изобретатель оружия... Три ордена Ленина... У нас в роте он...

Все, кто был на плацу, бросились в бытовой корпус. В клубной комнате собралась вся рота майора Тутукина.

Такие встречи со стахановцами, учеными, старыми большевиками, представителями демократической молодежи Болгарии, Албании, Героями Советского Союза устраиваются у нас часто. Зорин требовал:

— Учите детей видеть нашу жизнь... Кадета отгораживали от жизни монастырской стеной, чтобы при столкновении с действительностью не разрушались фальшивые идеалы, внушаемые в корпусе. Мы заинтересованы в слиянии с жизнью Родины. Мы — миллионная часть ее.

На этот раз гостем оказался знатный оружейник, имя которого хорошо известно было всей стране. Он приехал на несколько дней на завод в город и по просьбе Зорина

зашел ненадолго в училище. Получилось так, что в час неожиданного его прихода большинство рот ушло на концерт в филармонию, поэтому встреча произошла только с тутукинцами.

Высокого роста, с худыми костистыми плечами, седыми добродушными усами, гость сразу пришелся по сердцу ребятам — понравился и окающий говор, и веселые добрые глаза, и заразительный смех. Он сел за стол, предложил ребятам устроиться рядом.

Они с готовностью окружили его, доверчиво жались к гостю.

— Разрешите узнать, а вы сейчас что изобретаете? — вынырнул на мгновение из плотной толпы Павлик и тотчас юркнул назад.

Гость, Николай Васильевич, хитро прищурил глаза:

— Это военная тайна, — понизил он голос, — но вам я скажу...

Ребята замерли, подались вперед.

— Я с товарищами, — таинственно приложил Николай Васильевич палец к губам, — по указаниям товарища Сталина, — все, затаив дыхание, ждали признания, простодушно поверив, что сейчас им сообщат великую тайну, — ...улучшаю оружие! — закончил Николай Васильевич.

Все понимающе заулыбались. Чудаки, захотели чего, ясно — нельзя говорить, присягу-то он ведь давал.

— А у вас изобретатели есть? — полюбопытствовал гость.

— Так точно!

— Есть!

— Максим реактивный самолет сделал!

— Как настоящий летает!

— Каменюка электромоторчик собрал!..

— Такой маленький, а крутится!

Николай Васильевич обрадованно сказал:

— Значит техникой интересуетесь? Хорошо... Хорошо... Это для вас — первое дело. А ну, покажите мне свои моторы да самолеты.

Ребята немедленно притащили все, что у них было, объясняли, заводили. Николай Васильевич только похваливал. Поднявшись, он сказал:

— Эх, жаль, ребята, уходить пора.

В дверях показался фотограф, присланный Зориным:

— Разрешите, товарищ Герой Социалистического Труда, разочек щелкнуть?

Гость охотно согласился.

Ребята тотчас придвинулись к нему, уселись на полу, стали позади, Артем мостился у его ног, Павлик у плеча.

Николай Васильевич шутил: — Знаю фотографов — щелкать — щелкают, а карточки дарят редко.

— Мы вам пришлем обязательно, — заверили ребята. Мы доста-а-нем...

— Ну, смотрите, — уговор дороже денег.

Уже прощаясь, гость сказал негромко и сердечно:

— Когда-то писатель Вольтер, снедаемый заботами и мытарствами, писал: «Старость всегда приносит страдание». А вот мне, юные друзья, 78 лет, но, кроме радости и счастья, нет у меня других чувств. Приятно сознавать, что труд твой не пропал даром, что ты принес и приносишь пользу любимой Родине. Я — сын рабочего и сам рабочий. Только в нашей социалистической стране я смог применить свои способности. И пока бьется мое сердце, буду служить своему Отечеству, отдам ему остаток своих сил. Приятно сознавать, что оружие, над созданием которого трудились и трудимся я и мои соратники-конструкторы, находится в надежных руках.

Гость умолк. К нему бочком придвинулся Артем. Протягивая «дневник чести отделения», произнес так проникновенно, что невозможно было отказать:

— Мы вас очень просим, напишите, пожалуйста, нам на память...

Николай Васильевич снова сел:

— С удовольствием...

И тонкими буквами без нажима вывел: «Уверен, что вы, наши будущие славные защитники, любовно станете ухаживать за оружием, в совершенстве овладеете им. Боевое оружие — это самое дорогое государственное имущество. Советский народ не жалеет ни средств, ни сил, чтобы оснастить свою любимую армию первоклассным вооружением — самым мощным в мире. Оружие — это святыня для солдата, гордость советского воина. Изучайте наше оружие, берегите его. Оно имеет всемирную славу — умножайте эту славу».

«ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО ПАШКОВА»

Еще в лагерях я, как-то выйдя из парикмахерской и миновав было длинное белое здание ружейного парка, услышал за приоткрытой дверью знакомые, чем-то возбужденные голоса.

— Что с ним церемониться — избить! — предлагал гневный голос Суркова, и я удивился: всегда такой деликатный, кроткий Андрей вдруг жаждет кого-то избить.

— Давайте устроим суд чести! — слышался голос Володи.

— Какая к черту у него честь!

— Много чести для него — суд такой устраивать!

Когда я вошел в помещение ружейного парка, все, кто там находился, на мгновение замолкли, но, видимо, доверие ко мне взяло верх и, не дожидаясь вопроса, решили посвятить меня в суть дела. Несколько часов назад Семен Гербов в рощице позади лагеря нашел общую тетрадь. Надписи, указывающей на то, чья это тетрадь, не было. Семен, соображая чей это почерк, пробежал глазами первую страницу и, словно пораженный столбняком, остановился. Потом, спохватившись, поспешно стал читать дневник дальше. Тетрадь принадлежала Пашкову.

Геннадия в роте недолюбливали, как обычно недолюбливают в здоровом коллективе самоуверенных выскочек. Ребятам не нравилась и его манера говорить чуть в нос, проглатывая окончания фраз, и хвастовство отцом-генералом, и даже лицо — вообще-то красивое, но с девичьи нежной кожей, синевой под глазами и «породистыми» родинками на щеке.

Однако «Гешу», так звали его, все же терпели, отдавая должное его начитанности, умению интересно пересказывать приключенческие истории, восхищались его памятью и способностью, прослушав краем уха объяснение учителя в классе, повторить все дословно, хотя учитель и вызывал его, чтобы уличить в чтении посторонней книги. И еще ценили в Геше бескорыстие, способность поделиться всем, что у него есть, бесстрашие при высказывании старшим того, о чем иные только думали про себя.

Знали, что Пашков пишет дневник, интуитивно чувствовали, что там могут быть нехорошие записи, но все же не ожидали таких, какие случайно обнаружил Гербов.

Семен протянул мне злополучную тетрадь. Красным карандашом на разных страницах кто-то уже подчеркнул самые оскорбительные места.

«Я честолюбив, но это следует скрывать. Плевать мне на класс, в конце концов проживу и без него, ума хватит». И дальше:

«Надо налечь, получить вице-старшинские погоны — способностей у меня для этого более чем достаточно, а звание возвысит».

Меня больше всего поразили общий тон дневника. Что Геннадий честолюбив, самовлюблен и эгоистичен — для меня, воспитателя, не являлось открытием. Кое-какие из этих пороков удалось, если не выправить, то притушить. Но то, что в дневнике очень много говорилось о записках девочкам, первом бритье и будущей прическе, что, когда речь заходила о жизни общественной, писалось не иначе, как: «навязали доклад», «комсомольское собрание — гово-рильня», — возмутило и больно уязвило меня. Прочитав все это, я сразу и бесповоротно обвинил себя, прежде всего себя, в том, что по-настоящему не проник в этот мир Геннадия, не помог ему выбраться из него. Правда, были «смягчающие обстоятельства»: очень мешал отец Пашкова — генерал авиации; после смерти матери Геннадия он женился на молодой женщине и «счел за благо» сбыть сына в Суворовское училище. Времени его, видно, помучивала отцовская совесть, и он откупался от нее: на лето брал сына к себе на дачу, а раза два в год, к великому моему возмущению, присылал за Гешей специальный самолет и дружеское письмо Полуэктову с просьбой «отпустить на пару дней сынишку». Последствия этой «пары дней» приходилось выправлять не менее двух месяцев: молодая мачеха Геннадия, желая заслужить расположение мужа, всячески баловала, задабривала взрослого сына.

...Долго накапливавшаяся неприязнь к Пашкову теперь нашла выход — отделение было оскорблено и не желало ничего забывать или прощать.

Чувство, которое вызвал дневник Пашкова, можно было бы назвать непримиримым гневом. Не вражда, не ненависть, а именно непримиримый гнев, некоторое даже удивление: вот ведь за столько времени не узнали как следует человека, а он таким оказался...

Когда я молча закончил просмотр дневника, все опять возбужденно заговорили:

— Мы, мы на него плевали!

— Проучить как следует!

— Бойкот!

— Судить его по нашему...

Я внимательно смотрел на комсорга отделения — Гербова, и тот, словно прочитав мой настойчивый взгляд, догадался, чего именно я хочу, нахмурился и, видно, преодолевая внутреннее сопротивление, решительно сказал:

— Дело разберем на комсомольском собрании.

— Правильно, — поддержал я Семена. — Это и будет наш суд.

Согласились очень неохотно, скрепя сердце, и с условием разбирать немедленно по возвращении «на зимние квартиры».

...Начало собрания было сдержанно-деловым, и Пашкову, ожидавшему бурных наскоков, приготовившемуся к их отпору, вероятно, такое начало показалось самым зловещим. Им словно хотели подчеркнуть: «дело твое не представляет для нас главный интерес и не отвлечет от важнейших задач, а с тобой поговорим после». Председательствовал Семен Гербов. И это тоже было для Пашкова плохим предзнаменованием. Семену обычно поручали вести самые ответственные комсомольские собрания, когда требовалось опытное руководство — четкость, решительность и деловитость.

Я сидел в уголке класса, на задней парте и делал вид, что озабоченно записываю что-то в блокнот, мол, здесь я только для того, чтобы быть в курсе дела...

Гербов доложил, как выполняют комсомольцы решения прошлого собрания. Коротко отчитался в своей работе Ковалев. Он провел с малышами нового набора беседу по истории училища: о том, как пять лет назад вручили училищу боевое знамя; как приезжал Буденный и в книге отзывов гостей похвалил первую роту за строевую выправку; как прошедшим летом воспитанники дружно работали в колхозе и все заработанное на трудодни отдали в фонд создания физического кабинета в сельской школе-десятилетке. Павлик Снопков рассказал собранию о политинформации, которую он сделал рабочим склада. Когда Снопков кончил, Гербов, обращаясь к Андрею, редактору ротной газеты, спросил: — Ты

знаешь, что у нас среди воспитанников четыре молодых избирателя — гордость училища?.. Не знаешь? Очень жаль! Как редактор недальновиден... или сигнала секретаря парторганизации ждешь, мол, выпустите бюллетень. А сами мы что — догадаться не можем? Я думаю, товарищи, надо поместить портреты впервые избирающих. Пусть каждый из них напишет: «За что я буду голосовать».

Наконец, когда все, самые важные вопросы были разрешены, председательствующий объявил: «Разберем персональное дело члена ВЛКСМ товарища Пашкова».

По классу прошла едва заметная волна оживления и настороженно затихла. Геннадий держал себя, как, очевидно, решил заранее, — вызывающе. «Все равно вы меня исключите, так не позволю я вам гордости моей сломить», — говорил его вид.

Он наигранно-иронически улыбался, то и дело при-трагивался ладонью к мягкой, вьющейся шевелюре — будто сам себя гладил, заученно говорил, не слушая других: «Нечестно поступили... Залезли в чужой дневник. Факт!»

Лицо его нежно порозовело, глаза блестели, и синева под ними сгустилась до темноты. Я невольно залюбовался: «Красивый парень!» — но тут же подумал: «Но что-то неприятное в этой красоте... от самолюбования, наверно».

Товарищи очень скоро сбили гонор с Пашкова — решительно и жестко, как умеют это делать юнцы.

— Ты понимаешь, что такое комсомол? — в упор, медленно спрашивал Гербов, — ты понимаешь, перед кем стоишь? Я ему, товарищи, сейчас из устава ленинско-сталинского комсомола прочитаю, может, он это не знает или забыл...

А прочитав, опять настойчиво требовал ответа: — Ты в коммунистическом обществе думаешь жить или не думаешь? Ты нам прямо ответь...

Ковалев, поднявшись с места, так резко отбросил крышку парты, что она громко стукнула.

— Мы здесь должны ему всю правду в лицо сказать, — отрывисто, сдерживая себя, начал он. — Среди нас нет таких, что хотят жить по принципу «меня не трогай и я не трону». Так вот — слушай правду! Ты нарцисс самовлюбленный! Вечно хвастаешь отцом. Ну, он до-

стойный человек, а ты-то при чем тут? Аристократ ты, а не коммунист! — с сердцем воскликнул Володя и переревел дыхание.

— Ты читаешь выступления Вышинского в ООН против поджигателей войны? Почему он так смело, сильно говорит? Да потому, что чувствует за собой сплоченный советский народ, коллектив дружный. Это видит весь мир, а для тебя коллектив — ничто! В дневнике пишет, — обратился Ковалев к собранию, — плевать на нас! — он шагнул к Пашкову: — Слюны не хватит на всех наплевать!

— Верно! — взорвались возмущенные голоса.

— Да что с ним долго разговаривать!

— Персона!

Володя снова глубоко вобрал воздух и гневно спросил Пашкова:

— Значит тебе законы социалистического общества не дороги?

— А ты святой? — беспомощно огрызнулся Геннадий.

— Нисколько! Я прямо могу сказать о своих недостатках.

Он приостановился, словно беря разгон, а потом решительно признался: — Я не выдержан, хотя и очень борюсь с этим своим недостатком.

Я удовлетворенно подумал: «Хорошо!»

Как бывает в таких случаях, Пашкову на собрании припомнили «по совокупности» все: и то, что он пытался в позапрошлом году превратить малышей из роты Тутукина в своих прислужников, поручая им чистить пуговицы на своей гимнастерке; и то, что он в прошлом году не пошел вместе со всеми на субботник; и то, что в лагерях он отказывался от общественных поручений — «Я выпускник».

Но самым прямолинейно-суровым было выступление друга Геннадия, звонкоголосого, обычно смешливого Павлика Снопкова. Чувствовалось, что нелегко ему отрывать от сердца друга, что делает он это с болью, но иначе поступить не может:

— Конечно, в нашем человеке надо прежде всего хорошее искать, видеть в нем товарища в общей борьбе и труде, — начал Павлик звонко, — но нужно быть и беспощадным, если он мешает нам двигаться вперед... Правильно?

Павлик обвел присутствующих серьезным взглядом и, увидев, что с ним согласны, продолжал:

— В комсомоле кто? Молодые коммунисты... а он какой же коммунист? — «Он» прозвучало отчужденно, словно Павлик отбросил последний мостик, соединяющий его с другом.

— Мы его должны как индивидуалиста исключить... Пусть почувствует, что значит оторваться от коллектива. Если таких не учить, бесчестными людьми выйдут... потому что им до всех дела нет — только бы самому по-красоваться.

Пашков поднялся, судорожно прикусил губу. Ни слова не произнес, снова сел. Вскочил. Глухо сказал: «Я вас прошу... Конечно поздно... Хорошо, что вы прямо и правду... Но если поверите...» и умолк.

Его исключили из комсомола единогласно. В протоколе записали: «Довести решение до сведения всех комсомольских групп». И странное дело, мне было жаль Пашкова. Возвращаясь домой, я старался разобраться — почему? Возможно потому, что не считал его безнадежно потерянным для коллектива и был уверен, что коллектив может переделать его, но без присущей мальчишкам непримиримой решительности, доходящей до жестокости.

Может быть, жалел потому, что неотступно преследовало сознание моей собственной виновности: ведь, осудив воспитанника, комсомольское собрание осуждало и меня — воспитателя.

Я совершил ошибку, упустив Геннадия из вида, успокоило видимое благополучие...

Но было для меня в сегодняшнем собрании и радостное открытие: комсомольцы училища перестали нуждаться в мелочной опеке, поднялась в помощь педагогам чудесная сила. Теперь только направляй ее.

На объединенном партийном собрании первой и пятой рот коммунисты решали вопрос: как лучше организовать шефство комсомольцев над малышами, наметили план совместных действий. Ротное комсомольское бюро утвердило шефами самых лучших ребят. В «Боевых листках» появились призывы братски опекать малышей, самим стать примером для них.

Майор Веденкин собрал старших:

— Расскажите малышам, как вы готовитесь уже сейчас к экзаменам... Что значит быть комсомольцем... При-

ведите в свой класс... Поинтересуйтесь, хорошо ли они учатся, что им пишут из дома?.. Партийная организация рассматривает ваше шефство как важную политическую работу... Мы уверены: вы справитесь с заданием, будете помощниками командования в нашем общем деле коммунистического воспитания.

Первую встречу с «тутукинцами» мы постарались организовать как можно торжественней. Фактически шефство уже осуществлялось, но следовало придать ему организационные формы.

Младшие воспитанники выстроились в актовом зале. Играл оркестр. Комсомольцы — их было двадцать — остановились в центре зала. Островский, обращаясь к малышам, сказал:

— Комсомольская организация первой роты прислала к вам самых лучших своих воспитанников. Вот Гербов Семен (Гербов сделал вперед два энергичных шага, и медали, прозвенев, снова ровным рядом легли у него на груди) — он знаменосец училища; Лыков Василий — лучший гимнаст, научит вас своему искусству; а это Андрей Сурков — его картину «Подвиг Юрия Смирнова» вы видели в читальном зале; Павел Снопков — организует у вас кружок планеристов... Комсомольцы Гербов, Сурков, Лыков, Снопков, станьте на правый фланг первого отделения пятой роты! Теперь это отделение ваше...

Пятью минутами позже, после команды «Разойдись!», малыши облепили шефов. Те кажутся гренадерами, неловко передвигаются в гуще мелюзги, словно боятся случайно раздавить кого-нибудь, и уже в этой осторожности чувствуется застенчивая нежность.

Мы исподволь, ненавязчиво стали направлять работу шефов, придавая ей политическое содержание, старались, чтобы комсомольцы почувствовали — полученное задание очень важно.

Раз в месяц шефы отчитывались на комсомольском бюро, а иногда даже на партийном.

С увлечением готовили комсомольцы лекцию для малышей на тему:

«Каким должен быть молодой большевик?» Володя Ковалев приходил ко мне и Веденкину советоваться, как интереснее преподнести малышам материал.

Вообще у Ковалева превосходная черта: он отдает себе совершенно ясный отчет в том, что будет не только строевым командиром, но и политическим руководителем, и уже сейчас готовится к этому. С охотой берется за доклады, политинформации, составляет с ребятами альбом политических карикатур (из газетных вырезов). Во время Отечественной войны Ковалев, по собственному почину, вывесил в ротной комнате отдыха карту фронтов, флажками отмечал движение наших войск и по утрам, до завтрака, делал «международные обзоры» у карты, причем к нему прибегали ребята из других рот. Володя до такой степени увлекался своей ролью политинформатора, что в полночь тайком проскальзывал к репродуктору в читальном зале и, выслушав приказ Верховного Главнокомандующего, врывается в спальню, будит товарищей, и они долго не могли успокоиться, обсуждая последние известия.

Когда вдали показывается Семен Гербов — любимец «тутукинцев», обязательно рядом появляется стайка малышей. Семен идет неторопливо, поворачиваясь всем туловищем то в одну, то в другую сторону, а его маленькие друзья заскакивают вперед, путаются в ногах, теребят рукав гимнастерки, наперебой стараясь сообщить новости.

Гербов находит удовольствие в этой возне с малышами и опекает их, как старший брат — одновременно и снисходительный и строгий.

В воскресенье, после первого завтрака, Семен встретил в вестибюле Максима Гурыбу. Максим, сразу заметив на Гербове необыкновенные погоны с золотистой широкой окантовкой, подбежал и спросил с большим любопытством:

— Сема, а почему у тебя такие погоны?

— Мне присвоено звание вице-сержанта, — как о деле обычном сообщил Гербов, но видно было, что ему очень приятно объяснять это Максиму.

— А что такое «вице-сержант»? — забежал Гурыба вперед, заставляя Семена остановиться.

— Это первое воинское звание... У нас в отделении троим присвоили. Кроме меня — Суркову и Ковалеву.

— Присвоили? — зачарованно переспросил Гурыба, не отводя глаз с густыми переплетающимися ресницами от красивых погон.

— А нам присвоят?

— Конечно,—солидно ответил Гербов,—дойдете до первой роты — и присвоят... Только ведь знаешь,— он прищурился,— звание вице-сержанта не так-то легко получить...

— Не так-то легко... — как эхо, повторил Максим.

— Да, не так-то... Нужно хорошо учиться, сдать самому генералу экзамены по строевой и огневой подготовке, быть примером дисциплинированности. Это, брат, тебе не фунт изюму.

— Не фунт, — восторженно, шёпотом согласился Максим.

— А на следующий год, если не посрамлю вице-сержантскую честь, присвоят звание «вице-старшина».

— Да ну! — выдохнул Гурыба и вдруг закричал: — Эх, вот здорово! Так это значит... — неожиданная мысль поразила его... — Это значит, теперь тебя приветствовать надо? — с сомнением в голосе, выжидающе спросил он.

— Конечно.. Да разве вы понимаете приличия, — с сожалением промолвил Гербов.

— Понимаем! — возбужденно воскликнул Максим. — Вот увидишь! По коридору будешь идти, а я спрошу: «Товарищ вице-сержант, разрешите пройти вперед?»

— Ну, ну, посмотрим,— чувствуя какую-то приятную неловкость, ответил Гербов.

— Сенька, Сенька, Самсонов! — неожиданно закричал Гурыба, увидя на повороте коридора друга. — Ко мне! — и когда Самсонов подбежал, стал, захлебываясь, рассказывать ему, за что Семен получил такие погонны и как теперь к нему надо относиться.

— А я вам, ребята, ребус составил, — прервал его Гербов, протягивая лист бумаги... Малыши минуту-другую вертели ребус, но взгляды их все время возвращались к золотистому ободку вокруг алого поля погон.

— Сема,— желая тоже удивить чем-нибудь старшего, сказал Самсонов, — а мы в отделении подсказывание поставили на научную почву.

Самсонов любил изъясняться витиевато, не всегда точно понимая значение употребляемых слов. Гербов посмотрел с недовольством.

— Ну, что это вы еще придумали?—Знаете, друзья,— строго продолжал Семен, — вы мне последнее время перестали нравиться... Вот ты, Сеня... — Самсонов невинно подняв белесые ресницы, — вчера на прогулке плохо шел в строю.

- Понимаешь... — начал было Самсонов.
- Я видел! — оборвал его Гербов.
- Школьные привычки, — виновато вздохнул Самсонов и потер тыльной частью ладони черное пятнышко на конце носа.
- Нет, странные привычки, — нахмурился Семен. — И мне придется с вами заняться строевой... Смотри, у тебя пуговицы позеленели.
- Мела нет, — вступился было за Самсонова Гурыба, но умолк под взглядом Гербова.
- Ума не приложу, где мел достать, — подхватил версию друга Самсонов.
- Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе сам пуговицы почистил? — без тени снисходительности спросил Семен.
- Я, Сема, почищу... Честное суворовское.. — и белые ресницы убедительно дрогнули.
- Сема, — вкрадчиво сказал Гурыба, — ты обещал научить играть в шахматы и пойти с нами в кино...
- Как же я с вами пойду, если у вас двойки... на научной почве, — Гербов улыбнулся, и ребята поняли, что полоса строгости прошла. Они наперебой стали уверять:
- Мы исправим...
- Печальный случай...
- Ну, смотрите, — смягчился Семен, — если до следующей субботы полностью ликвидируете двойки и под-сказки, — он помолчал, подбирая веские слова, — как вице-сержант обещаю попросить разрешение у майора Тутукина пойти с вами в город.
- Ур-ра! — закричали Гурыба и Самсонов.
- Отставить крик! Только смотрите: каждый день проверять буду, как обещание выполняете.
- Выполним, — твердо сказал Самсонов.

КАМЕНЮКУ ПРИНИМАЮТ В КОМСОМОЛ

К вступлению в комсомол Артем готовился, как к большому празднику, радуясь и взбудораженно замирая от ожидания. Временами нападал страх. Ну, а вдруг не сможет ответить на политический вопрос? Позор! И Артем лихорадочно перечитывал газеты. Потом опасность мерещилась с другой стороны: что если по уставу забудет что-нибудь! И Каменюка ночью, тайком, при-

строив батарею под кроватью, зубрил параграфы устава. Утром приставал к товарищам, протягивая книжечку.

— А ну, проверьте! Все пункты проверьте...

Приближение дня приема до предела наполнило Артема чувством ответственности, ожиданием решающего события в жизни. На химическом кружке он шикнул на хихикающего Авилкина. — Хватит, слышишь!

— А тебе больше всех надо! — огрызнулся тот, вертя рыжей головой. Артем не сказал, что да, ему больше всех надо, потому что он готовится в комсомол, но посмотрел на Авилкина так, что Павлик мгновенно перестал хихикать. Если Артема спрашивали в эти месяцы о чем-нибудь — ты правду говоришь? У него готово было сорваться: — Конечно! Я же готовлюсь в комсомол! Но что-то удерживало напominать об этом.

Подал заявление в комсомол и Павлик Авилкин, но у него это получилось, как и многое, что он делал, очень легковесно. И что особенно не нравилось Каменюке, — больно уж много Авилкин хвастал своим вступлением. Скромности у человека нехватало!

Но вот, наконец, и день приема. Заявления рассматривало бюро третьей роты, потому что в роте Тутукина было пока только два комсомольца.

На бюро пришли: ребята из класса Беседы — глаза, трепетно ждали событий; пришел я с майором Веденкиным — он почти месяц работал воспитателем за Алексея Николаевича (Беседа был в отпуску); присели на скамью Гербов и Ковалев, давший рекомендацию Артему. За длинным столом, покрытым кумачом, расселись члены бюро. На кумаче большими буквами написано: «Примем в комсомол самых лучших суворовцев!»

«Молодцы, — мысленно похвалил я их за все эти торжественные приготовления, — а то мы незаметно для себя стали обеднять прием, превратили его в будничное дело! Молодцы...».

Первым рассматривалось заявление Авилкина. Он, семеня, подошел к столу. Яснее проступили веснушки на побледневшем лице, хитро забежали зеленоватые глаза: видно, и здесь собирался финтить.

Майор Веденкин, узнав, что Авилкина принимают в комсомол, очень удивился этому и решил прийти на бюро — возражать. «Рановато ему, Павлу Анатольевичу, в комсомол, рановато» — шептал он мне, поглядывая на

Павлика. Припомнили недавние его штучки: перевязал голову бинтом, желая отпустить недозволенную в младшей роте прическу, на уроке английского языка симулировал, говорил, что шея болит — «нервы развинтились», у майора Тутукина просил умильно: «Выпишите мне на каждое утро по два яйца — для командного голоса».

«Рановато вам, Павел Анатольевич, рановато». Но Авилкина раскусили сразу и без вмешательства Виктора Николаевича, тем более, что помогали этому товарищи Павлика по отделению, принявшие самое живое участие в событиях как лично их касающихся.

— А почему ты на подсказках живешь? — уличающе спросил с места Сенька Самсонов, помаргивая белыми ресницами. Авилкин не нашелся, что ответить.

— Я думаю, — сказал твердо Сенька, — лучше своя тройка, чем чужая пятерка!

Члены бюро с ним согласились, но все же уточнили, что самое лучшее — своя пятерка.

— А у вас тройки есть? — спросил Авилкина председательствующий, широкоплечий, с красноватой кожей лица, комсомолец Бирюков из третьей роты — отличник учебы, недавно получивший грамоту ЦК ВЛКСМ.

— Раньше были, — неопределенно ответил Павлик.

Кто-то из членов бюро, просматривая ведомость, сказал: — Да у него и двойки, оказывается...

— Я хочу быть, как Мересьев, а домашние задания выполнять скучно! — выпалил Авилкин, словно этим снимая с себя какие бы то ни было обвинения наперед. Все рассмеялись.

Майор Веденкин счел необходимым вмешаться.

— А как вы думаете, — обратился он к Авилкину, — почему Мересьев совершил свой подвиг?

— Ну, ясно, — герой! — не задумываясь, ответил тот и победно посмотрел на учителя, мол, засыпать хотели!

— А что толкало его на геройские поступки, — настойчиво продолжал спрашивать Виктор Николаевич.

Павлик растерянно молчал. Станный вопрос — ну герой — герой и есть.

— Это вы недопонимаете, — сожалая, сказал майор и, обводя всех присутствующих глазами, словно ища, кто еще недопонимает, объяснил:

— Истекающий кровью Мересьев потому 18 суток полз к своим, что у него развито было чувство долга,

он решил — каких бы усилий ему это ни стоило — возвратиться в строй, продолжать борьбу!.. Значит, кто хочет походить на Мересьева, должен уметь преодолевать любые трудности для блага нашей Родины. В училище у нас тот проявляет героизм, кто настойчиво, не жалея сил, учится; такой человек готовит себя к будущим подвигам, закаляет свою волю.

Авилкин мотнул головой, мол, «Ясно... И я так думал...»

Председательствующий обратился к нему:

— Вы можете дать бюро твердое обещание учиться только на четыре и пять?

— Не могу! — зашнырял глазами по сторонам Павлик.

— Почему? Ведь берут стахановцы на производстве обязательства.

— Да, но наша же работа умственная! — заюлил Авилкин. — Если б мне станок дали, я бы ого-го показал! А в нашей работе разве можно точно сказать, что двоек не схватишь... Нет гарантии! Председательствующий возмутился: — Надо, товарищ Авилкин, больше думать о чести училища!

Предложение поступило одно, и его приняли единогласно: — как недозревшего, пока не принимать. Воздержаться.

Павлик воспринял решение безболезненно. И можно было даже заметить тень удовлетворенности на его лице: «Ну не удалось, так не удалось. Зато на бюро был! Люди специально ради меня собирались».

Садясь на место, уверенно пообещал:

— Дозрею!

Секретарь бюро Бирюков настоял, чтобы в протоколе записали: «Комсомольцам, давшим рекомендации воспитаннику Авилкину, указать на несерьезный подход к делу...»

Все время, пока разбирали заявление Павлика, Артем сидел ни жив, ни мертв. Видно думал: «И меня так, и меня». Но когда встал и почувствовал на себе десятки внимательных глаз — сочувственных и дружелюбных — приободрился. Я с удовольствием посмотрел на Артема. Как вырос парень за последние два года! Сколько ему? Пятнадцать, кажется! Высокого роста, ладно сложенный, со смелым взглядом темносиних с «отчаянкой» глаз — такие трудно представить испуганными. У правого виска память о давней уличной схватке — ровик шрама, похо-

жий на продолжение темной, волосок к волоску, брови. Черные жесткие волосы на голове отливают лаковым блеском. А как изменился внутренне! Что ж, пожалуй, достойным комсомольцем будет! «Чудеса мгновенного перевоспитания!» — насмешливо вспомнил я чьи-то слова и усмехнулся, — выдумка досужих умов. Только упорством да неунывающей настойчивостью и возьмешь в этом деле. Были, конечно, и у Каменюки новые спады в поведении и, возможно, будут еще.

В прошлом году Каменюка создал у себя в роте ТОГВ и ЦСР. ТОГВ это «Тайная организация — гроза вселенной», а ЦСР — «Центральный склад разведчика».

ЦСР — это была узкая, длиной в руку, дыра под печкой, заложенная ловко подогнанным кирпичом. В дыре хранились электрический фонарь, компас, фара от автомобиля и веревка, грешно добытая в прачечной.

На стенах, классных досках, тетрадах, книгах появились таинственные буквы «ТОГВ» и «ЦСР» рядом с изображением черепа над скрещивающимися костями. Артем тогда бредил разведкой, упоенно читал книги о ней, выдумывал пароли, планы, шифры, даже написал письмо в школу разведчиков — спрашивал, каковы условия приема? Он мечтал о подвиге в тылу врага, о том, как он в форме неприятеля проникает в неприятельский штаб, достает документы огромной важности. Вот он сидит среди врагов, а они и не подозревают ничего. Какая выдержка нужна, храбрость и преданность своей Родине!

Тутукин, узнав о «ТОГВ» и «ЦСР», загремел о «политической подкладке дела, о корнях», забил в набат — на партийном собрании, на педагогическом совете.

Зорин вызвав к себе Тутукина, вразумлял его терпеливо:

— Ну чего ты, Владимир Иванович, крик поднял! Ну так, подумай! Не проще ли было бы тому же Беседе организовать кружок разведчиков, назвать его скажем... «КСВ» — «кружок смелых воинов» или еще как-нибудь — и пусть у них будет «Тайный склад» (только бы мы о нем знали). Можно было бы еще и помочь им веревку достать — зачем же из прачечной тянуть...

После раскрытия «ТОГВ» и «ЦСР», встречая Артема, полковник каждый раз спрашивал добродушно:

— Как дела, гроза вселенной? — Каменюка готов был провалиться сквозь землю, ругал себя, что придумал такое глупое название.

...Расскажи автобиографию, — обратился к Артему секретарь бюро. Каменюка ждал этого вопроса и все же не сразу начал. Мысли беспорядочно заметались:

«О чем рассказать? Нечего рассказывать...»

— Родился в 1932 году... Три класса окончил... Война началась... Папа и мама учителя; их немцы повесили за то, что прокламации писали... Наши пришли... я в Суворовское поступил... Помолчав, видно, выискивая что-нибудь значительное в своей биографии, виновато сказал:

— Все.

— Вопросы к товарищу Каменюке есть?

— Есть, — поднялся маленький, крутолобый член бюро Горкин — любитель задавать глубокомысленные вопросы большой жизненной важности.

— Скажите, а вы лично участвуете в строительстве коммунизма?

— Я готовлюсь стать строителем коммунизма! — страстно воскликнул Артем, поворачиваясь к Горкину, — пятерку получишь — это значит подготовился немного. У нас у всех и радость одна: на Урале домну зажгли — мы же все радуемся, а там узнают: суворовец хорошо учится — тоже радуются...

— Верно! — удовлетворенно мотнул головой Горкин.

Поднялась рука со скамей присутствующих. Впечатлительный Дадико, расширив огромные восточные глаза, спросил, замирая:

— А если ты в руки врагам попадешь и тебя, как Смирнова, пытать будут, ты что-нибудь расскажешь?

— Ни за что, — как клятву, произнес Артем, и желваки забегали у него под смуглой кожей щек. — Я папины прокламации по дворам расклеивал... И если бы меня поймали, ничего бы не сказал!

Выступлений было немного, но все такие хорошие, что Артему неловко было слушать. Только Ковалев сказал:

— Я дал товарищу Каменюке рекомендацию, значит ручаюсь за него... Но хочу указать ему на один его недостаток, — надо, товарищ Каменюка, быть более воспитанным, а вы еще можете нагрубить товарищу, выругаться, руки в карманах держите, сплевываете на каждом шагу. Это следует прекратить!

— Прекращу, — тихо сказал Артем, поднимая на Владимира преданные глаза.

Потом Артему жали руки, поздравляли — майор, Дадико, Сенька, какие-то мало знакомые ребята. Он был, как во сне, выскочил в коридор. Побежал в любимый дальний угол на третьем этаже, верно, чтобы самому подумать о совершившемся. Член Ленинского Союза Молодежи... Всесоюзного! Коммунистического! Комсомольцами были Корчагин, Кошевой, Матросов, Зоя, Сережа Тюленин, любимый герой Артема, и когда-то отец... А теперь он тоже... Комсомолец Артем Каменюка! Сам капитан Беседа характеристику дал! Вот был бы папа жив...

Вечером было общеучилищное партийное собрание. Мы возвращались с него домой оживленной группой: Веденкин, Беседа, Тутукин, офицеры второй роты. Мимо проплыла, перегоняя нас, голубая машина генерала. Разгоряченные спорами, еще не остывшие от них, стали прощаться у сквера. Я неспеша пошел по широкой извилистой улице. Дремали за стеклянными дверьми ночные сторожа в полушубках. Уличный репродуктор доносил нежные звуки скрипки. На окраине города пылало зарево над заводом. Мне было как-то по-особому хорошо, словно вместе с чистым, морозным воздухом в грудь вливались огромные, свежие силы. Сейчас мог бы горы свернуть. Хотелось, чтобы поскорее наступило утро, нетерпелось наброситься на работу и делать, делать то, о чем говорили только что на собрании.

Доклад «О большевистской принципиальности в воспитательной работе» подготовил Зорин.

Прения были страстными, острыми, честными. Так могут выступать только люди, очень любящие свое дело и своих товарищей.

Давний спор командиров рот о «мере строгости» жизнь давно уже разрешила, и к нему ни Тутукин, ни Островский не возвращались, понимая, что защищали крайности. Но если Тутукин полностью преодолел свои заблуждения, то легкий привкус либерализма в отношениях Островского к воспитанникам продолжал оставаться. Он любил подчеркивать, что «расшевелил чувства», «пронял», «добрался до глубины души», любил вегетарианские проповеди и склонен был заигрывать с питомцами там, где нужны были безоговорочная строгость, непререкаемый авторитет, где доказательства

только вредили, ибо многое ребенок должен принимать как правильное лишь потому, что «так сказал отец», а здесь, в училище — командир. Вместо того чтобы, скажем, категорически потребовать от воспитанников не курить, Островский говорил на комсомольском собрании ложно-отеческим тоном:

— Ну, коли вы не в состоянии бросить курить (??) — что ж... я в уборную редко захожу, но если зайду и увижу, что малыши там с вами курят — пеняйте на себя. Взыщу!

После такой «постановки» начинали курить и те, кто не курил, а нагловатый воспитанник Буриков на требование офицера пойти в наряд стал рассуждать: «Но это не логично, я недавно сменился».

Полуэктов припомнил на собрании Островскому и другое. Генерал наказал воспитанника первой роты за повторное нарушение формы одежды. «Добрый» Островский разрешил провинившемуся пойти к генералу «попросить прощения и сказать, что он осознал ошибку». Просто удивительно, что у человека, прослужившего более 30 лет в армии, возникали такие нелепо-христианские настроения.

— Твердость партийная нужна, товарищ Островский! — осуждающе говорил Полуэктов. — Вы коммунист молодой, и надо чутко прислушиваться к голосу товарищей. Научитесь же, наконец, отличать убеждение от уговаривания. Слов нет, «капральский тон», когда не говорят, а рывкают, принцип «тот прав, у кого больше прав» — вреден. Но следует помнить: кто стремится разрешить каждую педагогическую задачу во что бы то ни стало компромиссно, обходя острые углы, тот, как правило, обречен на провал — жизнь скоро вразумит его, а педагогика, в которой я, правда, слабоват, — генерал хитро прищурил глаза, — но уже начинаю кое-что понимать, припасет какую-нибудь коварную шутку.

Веденкин обрушился на Островского с другой стороны.

После воскресника по благоустройству города три воспитанника первой роты решили не готовить уроков на завтра.

— Мы работали до седьмого пота, — заявили они Веденкину, когда он вызвал их отвечать.

Виктор Николаевич справедливо возмутился:

— Разве трудящиеся города после воскресника получают выходные дни?..

И поставил всем трем единицы. Островский, узнав об этом, закатил глаза, сокрушенно замотал головой: «Все-таки какой вы черствый человек, Виктор Николаевич! Вы ведь тоже были молоды...»

— А где же чувство ответственности? Почему мы с вами, Виталий Петрович, в семнадцать лет уже были кормильцами семьи, а иные наши воспитанники такого же возраста беспечно ждут приказа «приступить к самоподготовке». За них побеспокоятся... О них подумают... Мне было 16 лет, я работал грузчиком на заводе, а вечерами бегал в школу взрослых; так почему же наши воспитанники не должны уметь отвечать самостоятельно за свои поступки, иметь развитое чувство долга, отказываться от удовольствий, от отдыха, когда этого требует долг. Это не аскетизм, а чувство ответственности.

В общем на собрании Островскому досталось так, что он распаренный и расстроенный выступил с покаянным заявлением «резко пересмотреть порочную линию».

Но больше всего понравилось мне заключительное слово Зорина. Он умеет очень важные решающие мысли согреть большим внутренним теплом, и оно передается слушателям.

— Мы, товарищи воспитатели, бойцы самой передовой линии — идеологического фронта, фронта борьбы за нового человека. Наши окопы выдвинуты далеко вперед... В ходе боев надо совершенствовать наше оружие. Советской педагогике 30 лет. Это возраст зрелости. Прошло время, когда можно было уповать на «божью искру» и этим довольствоваться. Теперь мы должны знать законы нашей науки коммунистического воспитания и управлять ими; с выверенной точностью идти к цели...





ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

ДРУЖЕСКАЯ РУКА

Как воспитатель я понимал, что одного вот такого «Гешу», как мой, труднее переделать, чем трех Каменюк Алексея Николаевича. Недостатки Пашкова были не так явно выражены, как в свое время недостатки Артема. Они у Геннадия лежали где-то в глубине, прикрытые внешней, несколько надменной благовоспитанностью.

Геннадий находился в том юношеском возрасте, который не терпит прямых нравоучительных бесед, в том возрасте, когда настороженно шарахаются от всего, что напоминает «подход», «обработку», всей душой презирают длинные нотации.

Действовать следовало очень тонко, обдуманно и начинать, пожалуй, с «артиллерийской подготовки», изда-лека.

Я попросил нашего библиотекаря Марию Семеновну «случайно» подsunуть Пашкову книгу Макаренко «Флаги на башне». Один из героев книги — Игорь Чернявин, — мне кажется, походил на Геннадия. Затем написал генералу Пашкову. Изложил все происшедшее с его сыном и закончил письмо словами: «Прошу извинить нарушение субординации, но Геннадий нам одинаково дорог, и это дает мне право обращаться к Вам не как к генералу... Не снимая вины с себя, скажу прямо — Вы как отец во многом из того, что с ним произошло, сами вино-

ваты. Но сейчас нам следует не об этом говорить, а прежде всего решить, как лучше исправить дело?

Считаю, что Ваше появление в училище может принести большую пользу, но приезд желателен не раньше чем через месяц: этот срок понадобится мне для некоторой подготовки...»

Имел я разговор о Геннадии и наедине с Гербовым.

— Ты думаешь — исключили его из комсомола, и руки умывай? — говорил я Семену. — Разве ты не понимаешь, что наша партия и комсомол — великие воспитатели? Ты вникни в это слово — воспитатели!

— Да ведь противно с ним возиться, что он — маленький, — непримиримо хмурился Гербов.

— Ты руководитель молодежи и не в праве так говорить, — горячо убеждал я, — у Геннадия есть и положительные качества, ты сам это прекрасно знаешь... и ему надо помочь...

— Да у него характер какой? Разве с таким что сделаешь? — что-то вспомнив, ожесточась, бросил Семен.

Ну, как объяснить этому юному воспитателю, завтрашнему военному педагогу (ибо все они ими обязательно будут), как внушить ему, что не в праве он так говорить? Как объяснить — доходчиво и просто, что мы преобразуем не только лицо своей страны, — строим города, пустыни превращаем в сады, но и творим новую человеческую природу — коммунистическую... Вмешиваемся в движение характеров, изменяем и направляем их.

Усадив Семена, я долго терпеливо объясняю ему основы самой мудрой и гуманной педагогики в мире, стараясь подобрать слова попроще, примеры поубедительней.

Ночью первую роту подняли по тревоге. Второй раз за этот месяц. Как только раздался будоражащий звук трубы, воспитанники еще сонные, еще плохо понимающие, что произошло, первым делом ухватились за сапоги и одежду. Собрались быстро. Карабин через плечо, стали на лыжи и в поход. Шли напористо. Снег на полях лежал плотной массой, и передним приходилось про-

кладывать лыжни. На рассвете я, будто случайно, очутился рядом с Геннадием. Едва виднелись впереди Володя и Семен: они шли в сторожевом дозоре. Где-то позади в ложбинке пыхтел Павлик Снопков. Он умурился провалиться в речке, подмочил лыжи и теперь счищал с них ледяной наrost.

Поравнявшись с Геннадием, я спросил задорно:

— Не устал?

— Никак нет, еще столько подавай! азартно ответил Пашков.

Свитер ловко облегал его тело, шапка немного съехала набок.

Интуитивно, каким-то особым чутьем, присущим педагогу, я почувствовал, что сейчас с Геннадием можно говорить просто и сердечно о главном. Почувствовал: под влиянием ли чудесного наступающего утра или от нахлынувшего в стремительном беге ощущения силы, молодости, ловкости, но у Геннадия доверчиво распахнулась душа. Мы остановились у роши — подождать, пока подтянутся остальные. Внизу виднелась станция и спящее село.

Заговорили о будущем, о скором расставании, но мысленно, я уверен, оба мы все время, о чем бы ни говорили, не отрывались от того главного, к чему шли в разговоре. Первым начал я:

— Совершенно искренне скажу тебе свое мнение: ты в действительности гораздо лучше, чем тот, за кого выдаешь себя. У тебя много напускного, не твоего, а в основе своей ты ведь хороший человек...

Геннадий метнул на меня полный благодарности взгляд, словно мысленно ловил руку для пожатия, но остался на месте, подбородком уперся в лыжную палку.

— Больше того, — как можно душевнее сказал я, — убежден, что ты снова будешь в комсомоле. Только надо мужественно бороться за это право, заслужить доверие товарищей.

И что-то прорвалось внутри Геннадия. Быстро, боясь что-нибудь упустить, недоговаривая фразы, перескакивая от одной мысли к другой, юноша начал исповедь. Только сейчас я заметил, как похудел Геннадий за последние дни, как осунулся, чего ему стоила напускная бравада, которой он, видно, хотел заглушить беспокойный голос совести.

Теперь, отбросив этот, верно, ему самому опротивевший способ самозащиты, он говорил... говорил... О том, что найденные записи сделаны им в прошлом году, что сейчас у него совсем иные взгляды и сам он во многом иной, но из-за глупой гордости не признался во всем этом на комсомольском собрании. Что тяжело, мучительно быть вытолкнутым из среды товарищей, невыносимо жить, если они отворачиваются... перестают верить тебе... Я, успокаивая его, крепко сжал руку выше локтя, сказал душевно:

— Я тебя очень хорошо понимаю, но все это поправимо...

Из-за реки огненным диском вставало солнце. Искрился снег.

Почти из-под ног неохотно вспархивали подмерзшие воробы. Низко над землей стлался светлокоричневыми лентами дым из труб. Со станции доносилось усталое попыхивание паровоза — гулкое и частое. И все это: солнечные языки в стеклах домов, серебристые переливы снега, тихое зимнее утро — было неотъемлемой частью того важного, на всю жизнь важного для Геннадия разговора, что произошел сейчас и положил какую-то новую, решающую грань в его сознании.

Памятное комсомольское собрание, отношение товарищей, — Пашков видел его только терпят, — разговор со мной — действовали на Геннадия очень сильно. От такой встряски внутренне неиспорченный человек обычно выздоравливает, а у Геннадия весь его «аристократизм», эгоистичность не были пороками органическими, глубокими, не составляли основу характера. Все это, как я и предполагал, оказалось наносным, напускным, и когда Геннадий по-настоящему почувствовал, что значит в жизни человека коллектив, осуждение и одобрение товарищей, он резко изменился, как изменяется человек после тяжелой болезни. Это не было чудом «мгновенного перевоплощения» (излюбленная тема ленивых воспитателей и кабинетных теоретиков), не было «вдруг», как не «вдруг» зацветают сады весной. Перелом, происшедший в Геннадии, подготовлялся, конечно, годами, но понадобился «взрыв», чтобы все лучшее, что уже накопилось в характере, вытеснило наносное.

Даже внешнее поведение Геннадия резко изменилось: он стал проще, сдержанней, скромнее. С готовностью помогал товарищам в учебе, предлагал свои услуги в хозяйственных работах по роте, — и все это без тени заискивания, без ожидания благодарностей и похвал, а просто потому, что по-настоящему понял, что значит жить дружно.

Ребята, видно, почувствовали, что происходит с Пашковым, и тоже, правда медленно, присматриваясь, стали «менять курс» — сердце отходило. Как-то, когда Геннадия не было в классе, Павлик Снопков сказал о нем Семену, самому непримиримому из всех:

— Проучили и хватит. Он многое пережил...

Павла поддержал Андрей:

— Ему сейчас руку протянуть надо...

Семен смолчал, насупился.

Неделей позже Геннадий подошел к Гербову с просьбой:

— Дайте мне поручение... общественное (думал, видно, сказать «комсомольское», — не выговорил).

Гербов недовольно дернулся, хотел отрубить, что, мол, обойдемся и без помощи таких, но вспомнил что-то и, глядя на Пашкова серьезными, требовательными глазами, сказал:

— Хорошо... дадим... Посоветуюсь на бюро...

Задание дали очень ответственное: возглавить комиссию суворовцев по празднованию дня Суворова — традиционного торжества училища.

Геннадий взялся за дело горячо. Он сам, часто советуясь с Веденкиным, подготовил доклад: «Суворовская наука побеждать», умело организовал выставку военного творчества ребят. Здесь были: механизированный участок минного заграждения, электрифицированный макет винтовки, планеры, миниатюрная полоса препятствий.

Павлик Снопков, важно прохаживаясь между экспонатами, объяснял гостям: — Сталинская стратегия опирается на передовую технику века... Мы должны идти во главе ее. Вот, пожалуйста, рисунки по радиолокации — последние достижения нашей отечественной техники. А это — пульт управления. Поджигатели войны нас не испугают. У нас самая передовая техника...

Он нажимал какие-то кнопки, поворачивал рычаги, и загорались лампочки, двигались механизмы. В «каби-

нете Суворова» Андрей показывал гостям рисунки ребят, рассказывающие о генералиссимусе, макет «Штурма Измаила», карты походов русских чудо-богатырей.

Потом в актовом зале была встреча с седовласым, статным полковником, награжденным орденом Суворова; полковник рассказывал о боях Отечественной войны. А в заключение поставили небольшую инсценировку Семена и Володи—«Разговор генералиссимуса с внуками».

На следующий день Гербов, подойдя к Пашкову, похвалил дружелюбно:

— Хорошо поручение выполнил... Ребята довольны...

Появление генерала Пашкова в училище вызвало у ребят нескрываемый интерес. Широкоплечий, высокий, с гибкой талией гимнаста, орлиными, пронизывающими глазами, он шел по двору легкой, чуть вразброс, походкой, свободно неся свое большое тело. Пожалуй, только нежная кожа лица, совершенно не соответствующая общему впечатлению мужественности, да тени под глазами — словно синева их перелилась за края век — напоминали о том, что это отец Геннадия.

Когда генерал снял шинель и стал подниматься по лестнице в кабинет начальника училища, ребята мгновенно подсчитали на кителе приезжего 21 планку наград. Несколько из них они не могли определить и шёпотом предполагали:

— Польский...

— Болгарский...

Генерал прилетел в училище неожиданно. Утром получил письмо от сына и, так как все привык делать решительно, за 20 минут собрался, а еще через 10 сидел в самолете, поручив свои дела заместителю. В училище решил, видно, устроить «разнос».

Генерала Полуэктова Пашков не застал и прошел в кабинет начальника политотдела. После долгого разговора с Зориным (никто не знал, о чем они говорили) вышел из кабинета красным и немного растерянным. Такое лицо бывает у человека, когда он вдруг обнаруживает заблуждение там, где считал до сих пор себя непогрешимым.

Пашков зашел в учительскую. Офицеры, присутствовавшие там, быстро встали, вытянулись, генерал жестом попросил сесть, сказал просто:

— Родитель Пашкова, Степан Васильевич,—и пожал руку каждому.

Меня отец Геннадия попросил уделить ему полчаса.

Мы уединились в пустующей музыкальной комнате. Генерал спросил с тревогой:

— Неужто непоправимо?

Я подробно рассказал обо всем, что произошло у Геннадия за последний месяц. В приезде отца собственно не было уже нужды: Геннадий сам сделал должные выводы и, по-моему, шел сейчас к коллективу, а не от него.

Отец с облегчением провел ладонью по блестящему загорелому черепу, точно таким жестом, как это делал Геша, приглаживая свой ежик. Полез в карман кителя, доверительно протянул мне письмо сына:

— Два месяца назад прислал: «Переведи в другое училище...»

— И что же вы ему ответили, — спросил я, прочтя письмо.

— Да ответил вроде бы то, что надо, — словно советуясь и теряя свою уверенность, посмотрел Пашков из-под тонких черных бровей, — сам, по-большевистски разрешай свои личные дела, прежде всего с коллективом считайся. Хорошо, что тебя во-время одернули... Наша партия образумливала людей и постарше тебя и позаслуженней, когда они начинали зазнаваться.

Генерал остановился на секунду, можно было подумать, он колеблется: следует ли еще о чем-то сказать, и, видно, решившись, протянул другое письмо:

— А это я сегодня получил.

Я прочел и это письмо. Не смог сдержать удовлетворенной улыбки, но тотчас согнал ее — не хотел обижать гостя: «Это ты, отец, сделал меня эгоистом... Только ты! Летом, когда я приезжал — баловал неумеренно, вместо того чтобы направлять мое нравственное развитие. К счастью, им занялись товарищи... Что же ты за коммунист, если у тебя такой сын?»

— Пожалуй, он прав, — задумчиво, с ноткой виноватости сказал генерал, — солдат воспитываю, офицеров воспитываю, а на собственного сына, выходит, времени нехватило... Но и взгрею ж я его за этот тон! — оскорбленно пообещал он, однако спохватился и озабоченно спросил: — Как же теперь дело повести?

— Я думаю, — немного помолчав, посоветовал я, — говорить с ним обо всем этом надо немногословно и просто: Как коммунист требую от тебя поступить покомсомольски... И научить как... Прошу вас, Степан Васильевич, не баловать его... ну хотя бы теми довольно крупными денежными переводами, что вы присылаете. Михаил Иванович Калинин, уже будучи Председателем Президиума, отвез своих детей учиться в Ленинград и устроил их жить у знакомого рабочего... Мог бы, конечно, обратиться к горсовету, для него бы всё сделали — не пошел на это. Договорился с рабочим, что будет присылать скромную сумму на столование сыновей. — Пусть в рабочей среде повяжутся — там деньги ценят по больше...

Я остановился, подумал: «лекцию прочел, неудобно как-то получается», но решил сказать еще об одном.

— Геянадий должен закончить училище с медалью, для этого ему сейчас следует работать с огромным напряжением, а он привык все брать с лету.

— Верно! — сокрушенно согласился отец и, словно стараясь смягчить обвинение, пояснил: — Он рано в школу пошел, память великолепная, всегда его хвалили... и, пожалуй, захвалили.

— Вот-вот, я прошу вас внушить ему, так сказать, по родительской линии, что успех принесет система в работе и настойчивость...

КАК ВОЗНИКАЮТ ТРАДИЦИИ

Из окна третьего этажа фигуры футболистов кажутся мне крохотными. «Какие наши, — думаю я, — в красных или синих майках?» Вокруг поля — стена зрителей. Временами до меня доносится шум, аплодисменты, свисток судьи. Наконец сообразил: наши в синих майках. Сообразил потому, что вратарь «синих» отбросил в сторону фуражку, и ее тотчас подхватил кто-то в форме суворовца, стал заботливо отряхивать.

И здесь я снова подумал о добрых традициях, которые прочнее всего укрепляют коллектив, о коллективе, создающем эти традиции. Когда в перерыве между таймами футбольного матча Илюша Кошелев и Павлик Авилкин, влюбленно глядя на лучшего футболиста училища

Савву Братушкина, выхватывают из его рук майку и бегут сушить ее на солнце, — они, наверно, не подозревают, что «вбирают в себя» традицию слыть лучшей футбольной командой города. Когда во время городского кросса вырвавшегося вперед лучшему бегуну училища Андрею Суркову сотни суворовцев неистово аплодируют, стонущей от радости толпой бегут параллельно стартовой дорожке и, задыхаясь, кричат: «Сурик, Андрюшечка, дорогой, нажми немножечко!» — они наверно ни о чем ином не думают, кроме того, что училище должно быть первым, но и в этом взрыве чувств рождается единство.

«Новорожденная» хорошая традиция должна бережно охраняться всем коллективом. Я вспомнил день рождения одной традиции нашего училища.

Первомайский парад... Большой город, куда мы приехали, празднично убран. Вместе с войсками проходим мы церемониальным маршем по просторной нарядной площади. Неожиданно начался ливень. Косые струи остервенело хлестали в лицо. Но суворовцы не сбавляют шаг. Они проходят мимо трибун, молодежато вздернув головы; их лица покраснелись, глаза зазорно блестят.

Мы идем главной улицей. Потоки воды чуть не до колен заливают голенища сапог, мундиры, рубашки промокли насквозь. Но мы идем с высоко поднятой головой — веселые бодрые, и брызги далеко разлетаются из-под наших ног. Ни звука жалоб, ни одной кислой физиономии. Запевала начинает песню. И торопливые прохожие на тротуарах останавливаются, глядя нам вслед, отворачивают воротники своих пальто.

Так мы дошли до казарм в военном городке, где остановились на время приезда. Стали выливать воду из сапог, сушить одежду. Я прислушивался к разговорам:

— Надо привыкать!

— Не сахарные...

— Еще не так придется...

Через несколько дней на вечерней поверке генерал Полуэктов прочитал перед строем приказ командующего округом, объявившего благодарность личному составу училища за безупречную строевую подготовку. С тех пор так и повелось: на параде мы должны пройти лучше всех — поддерживать «марку» училища. Рождалась эстетика военной жизни, с ее здоровьем, стройностью, опрят-

ностью, четкостью и строгой дисциплиной. Отливалась в красивые формы система воспитания. И все это — исполнение гимна на вечерней поверке, ежегодное празднование дня открытия училища, выдача воспитаннику при уходе в городской отпуск штыка в чехле — все это и многое другое создавало дорогие сердцу каждого суворовца традиции, украшало жизнь, роднило и сплачивало. Возникали единый тон, сознание близости и преемственности устоев Советской Армии.

Делом чести коллектива становилось: побеждать во всех городских спортивных состязаниях, задавать в городе хороший тон почтительного отношения ко взрослым, опекать малышей, умножать славу училища и вносить в историю его страницы, которыми гордились бы те, кто придет нам на смену.

После шестого урока весь офицерский состав училища и выпускники под оркестр отправились на вокзал участвовать в гарнизонных учениях — «посадка в эшелон». Под будоражащие звуки горна ребята, в считанные секунды, с карабинами в руках, впрыгивали в вагоны, по сходням вводили туда лошадей, вкатывали на открытые платформы повозки. Озабоченные, азартные, действовали быстро, точно, и любо было глядеть на их дружную без крика, суеты работу. Короткие команды, точные, сильные движения, слаженность.

Семен и Андрей в синих рабочих комбинезонах (они до этого таскали рельсы) руководили сейчас погрузкой конского состава. Снопков тащил за узду небольшого, обычно смиренного конька. Тот, испуганный скоплением людей, необычайностью обстановки, пятился, никак не хотел вступать на сходни.

— Отведите его в сторону, — посоветовал я, — пусть успокоится...

— Нет, я его заставлю итти! — свирепо зашипел Павлик и вдруг вспомнил прием «закрутку», которому их когда-то учил преподаватель верховой езды капитан Зинченко. Снопков ремешком быстро перекрутил верхнюю губу коня, и тот, вдруг смирившись, покорно пошел в вагон.

Немного усталые, но удовлетворенные, возвращались в училище, сопровождаемые ватагой ребятишек, бегущих впереди оркестра. Воспитанникам дали час отдохнуть, а офицеры — кто ушел домой пообедать, кто в роту.

Я и Алексей Николаевич сели на скамейку во дворе, около метеорологической станции, сооруженной юными географами. Мы дней десять не имели возможности поговорить вот так, не спеша, наедине и соскучились друг по другу. Уже года два, как между нами установилась та крепкая, душевная дружба, которая украшает жизнь, делает людей внутренне богатыми.

— Воюешь, Алексей Николаевич? — ласково посмотрел я на друга.

— Воюю, друже, — ответил Беседа и, достав свою неизменную трубочку, похожую на бочонок, стал набивать ее табаком.

— Понимаешь, плохо еще воспитаны наши сынки. А хочется, чтобы о моем Каменюке говорили, когда он в обществе будет: «Прекрасно воспитан молодой человек...» Сейчас он грубоват, мало отесан. Любимая поза — руки в карманы брюк, любимый жест — голову вздернул и цвырк через зубы — на семь шагов вперед.

— Галантности захотел! — подсмеиваясь, посмотрел я на него. Мне доставляло удовольствие с дружелюбной иронией подзадоривать немного Алексея Николаевича и потом слушать его размышления вслух.

— Не в галантности дело, — спокойно возразил Беседа, — да вот, пожалуйста, — он задумчиво попыхал трубой, в уголках глаз залучились морщинки — растеклись гусиными лапками, — летом, во время каникул, заезжал я в семью Кирюши Голикова. Да... Сели пить чай. Отец Кирюши — полковник в отставке, очень симпатичный человек; мать, Маргарита Ивановна, ну эта мне меньше понравилась (больно размалевана) и мой бесподобный Кирилл Петрович. Попиваем чаек, а я, представь, как на раскаленных углях сижу. Не будь здесь отца Кирилла, я давно удалил бы негодника из-за стола. Крутится, встает без спроса, возвращается. Пригоршней «цапает» из вазы вишни и, запрокинув голову, по одной забрасывает в рот. Родители не замечают или делают вид, что не замечают, а я... едва выдержал позорще. Сорел! Это ведь мне укор — нечего сказать, воспитал!

— Казнишься, — вернул я и поощрительно посмотрел на друга краешком глаза.

Но Беседа был сегодня настроен эпически-спокойно и продолжал неспеша:

— Верно! Очень виноват... Недоработал. Офицеры старой армии — дворянские сынки, возвращенные гувернерами, знали, как «держаться в обществе». Но это был **внешний** лоск паркетных шаркунов, умеющих изящно целовать ручку дамы, во-время подать стул. Упаси бог, есть рыбу ножом! А избивать своего денщика считалось естественным и нормальным. И кадетов воспитывали точно так. Мне рассказывали: в актовом зале, на балу, офицер подходит к своему воспитаннику, и нежность, тактичность, деликатность струится из его глаз, а в классе шипит тому же мальчику: «Садись, дерево, на дерево!». Конечно, должны и мы внушать нашему питомцу, что кушать рыбу ножом некрасиво, а женщине и вообще старшим следует предложить стул. Но главное, я думаю, в нашем понимании воспитанности заключается в том, чтобы сыны трудового народа были внутренне интеллигентны: уважали правила социалистического общежития, людей труда и сам труд, были коллективистами. Дело ведь не только в умении держаться в обществе, соблюдать этику, хотя и это немаловажно. Настоящая культура начинается с уважения людей, тебя окружающих. Ну, я слишком расфилософствовался, — спохватился Алексей Николаевич и стал выбивать трубку о край скамьи, на которой мы сидели.

— Мне кажется ты прав, — с охотой поддержал я Алексея Николаевича, — ребят надо упражнять в моральных поступках — упражнять в чуткости к товарищам, выполнении своего долга, слова... Тогда отвлеченные нравственные формы превратятся в правила поведения... И, конечно, прививать правила этики... Я в дневнике у моего Ковалева прочитал: «Если я сижу в нашем кино и вдруг увижу — офицер смотрит картину стоя, или техничка Алексеевна осталась без места, я не могу спокойно сидеть. Мне кажется они думают обо мне: «Невежа ты, невежа. Этому тебя учат?» Настроение портится, интерес к картине пропадает. Но как только уступаю место, сразу на душе становится спокойно и на экран приятно смотреть».

— Хорошо! — одобрительно сказал Алексей Николаевич, — право, хорошо. А мы, знаешь, — ревниво сказал

он, — в отделении стали выпускать газету «За честность и вежливость»... Каменюка редактирует...

Раздался сигнал: «Приступить к вечерним занятиям!» Мы, попрощавшись, пошли в свои роты.

ПОСЛЕ ОТБОЯ

«Отбой» — приказ спать — дают в десять часов вечера. Но и после отбоя, прежде чем уйти домой, офицеры обязательно заглядывают в ротную учительскую. Здесь оказывается Гаршев с Веденкиным, или Островский с Тукуиным, а то и все вместе. «Съуженный педсовет», — шутливо бормочет Семен Герасимович, поглаживая бороду.

Вот, устали, а все же хочется поставить какую-то необходимую точку после этого напряженного трудового дня, перекинуться несколькими фразами, о чем-то рассказать, расспросить, и все «случайно» заходят в учительскую. Веденкин оживленно рассказывает:

— У меня тема была: «Год великого перелома». Я и спрашиваю у выпускников: «Если бы вы, в составе рабочей бригады, поехали организовывать колхоз, как бы вы местным активистам, типа Макара Нагульного, стали доказывать, что следует создавать не коммуны, а сельскохозяйственную артель?» И что вы думаете? — Правильно ответили! Цитировали из сталинской статьи «Головокружение от успехов».

Я недовольно говорю Веденкину:

— То, что они увлекаются историей — превосходно, но вот что вы, Виктор Николаевич, теряете чувство меры, когда даете домашнее задание, — это я решительно осуждаю. Вчера они должны были и по учебнику прочитать, и по «Краткому курсу», и законспектировать три страницы из «Вопросов ленинизма», и выписать цитату Ленина. Половина вечерней подготовки ушла у них на историю. Я такой «патриотизм» учителя не признаю, когда он забывает о товарищах по работе, о других учебных предметах и реальных возможностях учащихся...

Веденкин немного опешил от моего наступления, но стал оправдываться:

— Исключительный случай... Дальше задания будут гораздо меньшими... Но вы согласитесь, что историю они должны знать, как следует... и что этот предмет...

— Так же важен, как и математика, — хитро прищурил глаза Гаршев. Виктор Николаевич посмотрел на математику и понимающе улыбнулся.

На минуту заглянул Беседа, — он сегодня дежурил по училищу и не успел днем спросить Виктора Николаевича, как прошли уроки в его отделении.

— Что у меня? — поздоровавшись со всеми, быстро подошел Алексей Николаевич к Веденкину

— Неплохо, — успокаивающе ответил майор, — двоек нет...

— А тройки? — обеспокоенно спросил капитан.

— Из десяти спрошенных только две гроечки.

— Так это же очень плохо! — огорчился Беседа. Они решили встретиться завтра, поговорить подробнее.

Алексей Николаевич заметил в углу дивана молчаливого капитана Васнецова — преподавателя литературы. Несколько дней тому назад Беседа попросил его. «Если это не нарушит ваших планов, дайте, пожалуйста, моим сынкам для сочинения тему: «Какую роль играет чистота и аккуратность в коллективном труде?»

Сейчас, пожимая руку Васнецова, Алексей Николаевич с интересом спрашивает:

— Писали?

Васнецов молча копается в портфеле и, смеясь одними глазами, протягивает Беседе тетрадь Сени Самсонова.

«На корабле почему такая четкость? — Там чистота, порядок! И на производстве чистота — разве же в грязи хорошие детали сделаешь? Да что далеко за примерами ходить: у нас, если воспитанник неряха — измазан, неумыт, тетрадь у него не в порядке, ботинки пыльные, — на него просто смотреть противно. Я сам такой раньше был — знаю!»

Беседа довольно расхохотался.

Смеялся он так заразительно, до слез, выступающих на глазах, что невольно заставил смеяться и тех, кто не знал, в чем дело.

— Здорово это мы с вами надумали! — радостно сказал он Васнецову, — я завтра постараюсь вас увидеть, остальные работы прочту: — это для меня клад.

Беседа распрощался со всеми и ушел, хотя ему видно очень хотелось побыть здесь еще.

...Заспорили об оценках, и Веденкин изложил свою точку зрения на этот счет:

— Не люблю озираться на баллы вчерашнего дня. Что заработал — то и получай... Я вам больше скажу: — Если у меня возникнет на то моральное право, хотя бы малейшее, я с удовольствием, понимаете, с удовольствием, ставлю пятерку слабому и двойку отличнику.

— Разве можно поставить пятерку Савве Братушкину по случайно удачному ответу? — возразил пожилой, художавый географ, — если я знаю, что его потолок четыре?

— Вредная предельщина! — воскликнул Виктор Николаевич, — вы Савву обрекаете на четверку, предопределили... и он сам начинает верить, что на большее способен.

И уже спокойно продолжал:

— Есть сторонники опроса редкого, но, как они говорят, фундаментального: одного ученика по двадцать-тридцать минут спрашивают. Я противник этого. Спрашивать надо понемногу, но чаще, все время прощупывать, восемь-десять раз за четверть тормозить. Тогда никто не гарантирован, что не будет снова вызван. Иной раз, — Виктор Николаевич хитро сузил глаза, — устроить «проверку честности» — четыре-пять раз подряд одного и того же вызывать. Или делать «сюрпризы последнего дня четверти». Парень уже успокоился: «пятерка обеспечена, можно урок не учить», а я его — пожалуйста ко мне! Вы скажете — «ловите, вредничаете», а я скажу — приучаю к систематической работе!

Яростный спор закончился победой историка, но Веденкин не успокоился и нашел новое поле боя:

— Вы согласитесь, что в педагогике более даже, чем в медицине, важна профилактика? Очень многое из нежелательного можно предупредить, дальновидно недопустить, избежать в самом его зародыше. Верно? Вот, пожалуйста, свеженький пример: отделению в полдень сделали прививку против сыпного тифа, к вечеру многие ребята неважно себя почувствовали, поднялась температура, клонило ко сну, они не готовили уроков и рано легли спать. На утро преподаватели и я грешный, никем не предупрежденные, принялись спрашивать ребят; посыпались единицы и двойки, дети, видя явную несправедливость,

стали нервничать, грубить, и такой день внес много нездорового в отношения учителей и учащихся. А всего этого легко было избежать, если бы воспитатель предусмотрительно осведомил преподавателей о последствиях вчерашних уколов...

На диване у дальней стены учительской офицеры-воспитатели ведут свои разговоры, особенные, военно-педагогические; таких не услышишь нигде, кроме военного учебного заведения:

— Сколько у тебя воспитанников «поражено двойками»? — спрашивает один.

— Получается какая-то странная «вилка» между успеваемостью в четверти и успеваемостью по результатам последнего диктанта... — тревожно отвечает другой.

— Я с ними вожусь, вожусь, а «должной отдачи нет», — сетует третий, — приходится все время «держатъ его на боевом взводе».

На пороге учительской появляется полковник Зорин. Все встают. Все довольны, что он пришел, потому что питают особую симпатию к этому высокому смуглолицему человеку. В последние месяцы он тяжело болел. Подвело свой неумолимый итог пережитое в войну. Но он крепился, неизменно был на вечерних поверках в ротах. Только иногда невольная судорога лица выдавала боль... Тогда он торопливо уходил. Эта молчаливая борьба с недугами вызывала у всех нас еще большее уважение к Зорину.

— Сидите, сидите, — говорит Зорин, входя в учительскую. Становится еще оживленнее.

— Может быть, я как беспартийный, да еще и математик, что-нибудь не так скажу, — вздергивает бороду Семен Герасимович, — но мне кажется, что у некоторых наших детей есть разрыв между теоретическим пониманием идей патриотизма и практикой их собственных действий. Иной из них так расчудесно объяснит, что такое советский патриотизм, а сам плохо трудится, нарушает порядок...

Говорили о том, о чем всегда говорят между собой любящие родители. Но если бы кто-нибудь другой посмел обвинить их ребенка в невоспитанности, неблагодарности, эгоизме, они стеной стали бы на защиту своего чада, наши бы множество примеров его благородства, редких душевных качеств и морального роста.

— Очень интересную работу проводит капитан Беседа, — раздался голос Зорина. — У них в роте сейчас с десяток комсомольцев, — а тон, так сказать, задает Артем Иванович Каменюка. Тутукин им не нарадуется: и строевик, и общественник — опора командования!

Все довольно рассмеялись: что ни говори, а очень приятно ощущать плод своих усилий — становится светло на душе.

— Мне не надоест повторять, — продолжал Зорин, — приучайте воспитанников готовить политинформации, проводить беседы, писать доклады, выступать с острой товарищеской критикой, — но пусть они делают все это своим языком, не пользуясь штампами... Да... так я отвлекся немного... капитан Беседа прививает своим комсомольцам эти навыки общественной деятельности. Они интересное собрание провели, разбирали вопрос: «Что значит быть коммунистом?» Выпустили альбом: «Страны новой демократии», а Илюша Кошелев — помните, лопушок такой, — сделал не больше, не меньше как «критический анализ работы комсомольцев роты за полгода». Как вам это нравится?

Зорин обвел всех торжествующими глазами.

— Даже Авилкин, по вескому заверению ребят, успешно «дозревает». Артем считает себя «лично ответственным за него». Но когда товарищи сказали Павлику, что, мол, теперь, пожалуй, тебе пора в комсомол, он серьезно ответил: «Рано... Еще подготовиться надо... Нельзя ж снова позориться?..»

— Товарищ полковник, а правильно сделали, что Пашкова в комсомол восстановили? — с сомнением в голосе спросил кто-то из офицеров.

Я недовольно нахмурился; легче всего задавать такие вопросы.

— Думаю, что правильно! — не колеблясь, ответил Зорин. — Мы сами виноваты. Мало с парнем работали и сразу бах — выгнали! Не утруждая себя... А пора бы научиться, как говорил Макаренко, «проектировать личность», видеть ее завтра, обладать способностью «упреждения».

Он мягко посмотрел в мою сторону и убежденно сказал:

— Казалось бы, сейчас Пашков и Авилкин — недостойны уважения, но кто из нас может поручиться, что

через несколько лет он не окажется очень хорошим человеком? Вот и следует в своем сегодняшнем отношении к нему не забывать об этих внутренних возможностях, да они и определятся, в конечном счете, нашими усилиями сейчас.

Зорин неторопливо закурил. Сказал негромко:

— Когда на комсомольском бюро решили Пашкова оставить в комсомоле, я поддержал. Но, товарищи, условие: вы должны усилить внимание к нему.

Полковник встал. Поднялись и все, кто был в учительской.

— Пожалуй, пора и по домам, — тепло сказал Зорин. — Мне сегодня с вами по пути, — обратился он ко мне. — Я на вокзал — сына встречать.

Я искренне обрадовался попутчику.

Мы пошли по аллее, спускающейся к вокзалу. Теплый весенний ветер, пахнувший рекой, набухшими почками, талым снегом, приятно обвеивал лица. В шинелях, перехваченных ремнями, было жарко.

— Я ведь дедушка, — мягко сказал Зорин, — внучка моя Светлана, уже собственноручно приписала мне в письме две строчки: «Золотой дедуся, я тебя стою раз целую...»

Я не видел лица Зорина, но догадался, что он улыбнулся.

Зорин посмотрел на часы.

— Поезд придет через пятьдесят минут; вы, может быть, торопитесь? — спросил он.

Я мысленно прикинул: Нина сменяется в двенадцать, как раз зайду за ней в больницу...

— Нет, у меня часок свободен, — ответил я.

— Тогда давайте посидим немного, — предложил полковник, — вечер-то какой чудесный.

Мы сели на высокую скамейку под старым каштаном.

— Я, товарищ полковник, часто вспоминаю один наш разговор... Мы в лагерях как-то засиделись, — вы, Алексей Николаевич, я...

— После спектакля, что ребята ставили? — вспомнил полковник.

— Верно, — я удивился его памяти. — Тогда вами была высказана такая мысль: — Чем полнее овладеем мы законами педагогики, открытыми и теми, что следует открыть, тем быстрее и без грубых ошибок, будем выращи-

вать у детей необходимые нам качества характера. Иначе говоря, садовод обязан безупречно знать условия роста саженцев и то, как ухаживать за ними. Но, главное, что запало мне в память, — вы сказали: «Воспитатели должны быть рационализаторами, изобретателями...»

— Больше того, — подхватил Зорин, — я убежден — не за горами то время, когда звания лауреатов будут присуждать творческим работникам педагогики, новаторам, ломающим старые представления. То, что нас удовлетворяло в прошлом году, в этом уже недостаточно. Рабочие, колхозники, люди науки ищут, совершенствуют свой труд, открывают новые методы и приемы. И наш коллектив должен стать педагогической лабораторией, а каждый воспитатель творческим исследователем... Ведь вот, мастер на производстве передает свои «секреты» молодым рабочим, а в праве ли мы бездумно распылять свой опыт, приобретенный подчас мучительно? В нашем ли характере искать покой тихой гавани, довольствоваться достигнутым?

— Сейчас многие офицеры уже ведут дневники, — сказал я, — записывают наблюдения, ищут законы и правила... Это облегчит труд воспитателей, которые придут нам на смену, придаст их работе точность... Я даже немного завидую тем, кто будет работать после нас: они воспользуются дорожками, что проторили мы сейчас, просеками, которые мы вырубам для них... Но и горжусь, — хоть и трудно, но чертовски хорошо строить мосты для армии, следующей за тобой. — Мы помолчали.

— И вы ведете записи? — пытливо посмотрел Зорин.

— Да, — признался я.

— Если это не секрет... какую, например, запись вы сделали вчера?

— Не знаю, может ли это быть вам интересно, — с сомнением сказал я, — я записал, что ощущение расстояния, промежутка, но не пропасти, должно сохраняться между детьми и воспитателями. Это необходимое условие почтительности и уважения. Чрезвычайно важно и офицеру и воспитаннику научиться чувствовать, где кончается служба с ее официальностью, строгостью и начинаются душевные отношения. Служба и быт настолько слиты у нас в училище, что порой, сам не замечая того, офицер на внеслужебные отношения переносит тон и действия, диктуемые уставом.

Кое-кто из питомцев, не будучи достаточно воспитан, получив право более близкого общения с воспитателем, забывает о грани, где начинается недозволенное, допускает вольности, претящие всякому взрослому человеку. Это отпугивает некоторых офицеров.

Зорин, соглашаясь, кивнул головой.

— Не желая подвергать неприятным испытаниям свое самолюбие, — продолжал я, — иной из нас предпочитает постоянно сохранять между питомцем и собой расстояние, пожалуй, большее, чем следовало бы. Так спокойнее и легче. А гораздо сложнее научить детей понимать грань возраста и отношений, чтобы не забывали они, как в хорошей семье не забывает сын, даже в минуту самой сердечной близости, о том, что перед ним отец.

— Это верно! — обрадованно воскликнул полковник, — но... простите, мне кажется, как-то неполно... тут еще что-то должно быть о педагогической терпеливости.

Я удивился совпадению мыслей. — Представьте себе, товарищ полковник, именно об этом я очень много думал... Легко наказывать, расточать громы и молнии, много труднее кропотливо, изо дня в день, выпрямлять натуры. Великие образцы — терпеливого перевоспитания крестьян в коллективистов, любовного выращивания дружбы народов советской страны — дает наша партия. И каждый раз, когда мне хочется отмахнуться от «чернового» труда воспитателя, решить какой-нибудь вопрос упрощенно, я вспоминаю эти образцы и... вооружаюсь терпением.

Стрелка светящихся часов на перекрестке улиц приблизилась к двенадцати. Мы, тепло распрощавшись, расстались.

Я шел и думал: прекрасная должность быть на земле человеком, но вдвойне прекрасна должность воспитателя советского человека.

ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ

В первые же дни знакомства с ребятами я обратил внимание на высокого молчаливого юношу — Андрея Суркова, который обычно не участвовал в шумных играх, но, чувствовалось по всему, пользовался расположением товарищей. Скоро я узнал, что главной страстью Андрея — глубокой и прочной, было рисование.

В свободные часы он отпрашивался и с альбомом в руках уходил на городскую площадь. Долговязый (Сурков был самым высоким в училище), сосредоточенный, он широко шагал по улицам, прижав локти к туловищу, немного «загребая» левой ногой.

Если было холодно, Сурков только кружил вокруг памятника и присматривался — то отступая, то приближаясь. В теплые дни, пристроившись у ограды сквера, рисовал, не обращая внимания на любопытствующие взгляды прохожих.

Ему хотелось изобразить памятник снизу так, чтобы огромный собор на заднем плане казался игрушечным, а богатырь на пьедестале прорезал тучи шлемом.

Композиция ускользала, расплывалась. Он искал новую точку и опять ходил вокруг памятника, прищуривал глаза, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу.

В своем блокноте Андрей записывал наблюдения:

«Очень трудно уловить переход тонов при закате солнца. Все время меняется освещение. Пробовал нанести на красноватый фон сиреневые штрихи: получается грубо и неестественно. Надо искать какие-то особые оттенки и тонкие переходы».

Больше всего Суркова увлекали сюжеты из военной истории.

— Товарищ капитан, — спросил он как-то меня, — а после училища можно поступить в Художественную академию?

Внимательно наблюдая за развитием способностей Андрея, я не раз думал, что, возможно, из него получится незаурядный художник, но на вопрос Андрея ответил уклончиво:

— Об этом сейчас рано говорить, — нужно упорно работать. И не только над рисунком: надо читать, наблюдать...

Приятно было, что Сурков не тяготился строевой подготовкой, увлекался литературой, летом в лагерях взял второй приз по плаванию, проявил себя хорошим разведчиком, а когда был объявлен конкурс на лучшее сочинение «Кому и за что Москва поставила памятники?» — Андрей не только превосходно оформил внешне свою работу, но и написал ее умно и с душой. Как-то Андрей принес мне новый рисунок,

— Это Черкасск начала XVIII века. Я прочитал в одной книге его описание, и вот так и представляю себе. — С боязливой надеждой Сурков развернул лист с рисунком.

Я увидел многолюдный казачий городок, лукообразный купол церкви вдали, корабли у пристани, подвыпивших полуголых казаков, идущих в обнимку посредине улицы, турецкого купца возле тюков товаров, дивчину, выбирающую бусы у рундука, и мальчишку с прутиком, играющего около забора. И все это — яркие краски, живые, своеобразные лица, движение ярмарки, и, казалось, переданный кистью гомон многоязычной толпы — было настолько удачно схвачено, что я не удержался от похвалы.

— У меня есть в городе знакомый художник — Крылатов Михаил Александрович, — сказал я Андрею. — Отбери несколько рисунков, в воскресенье пойдем к нему в гости.

— А он свои картины покажет? — обрадовался Сурков, торопливо свертывая лист бумаги.

— Я думаю, покажет, во всяком случае попросим...

— Товарищ капитан, может быть, не стоит мои рисунки брать?.. Неудобно как-то... будто хвастаю... Первый раз придем...

— Нет, почему же, возьмем. Тебе полезно будет послушать замечания мастера.

Художник жил на окраине города, в небольшом деревянном особняке, окруженном садом. Он обрадовался нашему посещению и сразу повел нас в свою мастерскую.

— Это самое свеженькое, — сказал он, окинув взглядом ряд пейзажей, развешанных на стене. — Я лечился в Горячем Ключе — последствия ранения — и вот написал. Вы в Горячем Ключе были? — спросил он у Андрея. И это обращение, как к равному, видно польстило Суркову.

В углу мастерской стоял прикрытый мольберт, на него Андрей то и дело поглядывал. Художник сразу заметил это, но медлил подвести юношу к мольберту. Наконец, и сам не выдержал.

— Над этим сейчас работаю, — сказал Крылатов, подводя нас к полотну.

Перед нами была донская станица. Просторная улица... речка вдали... хаты веселые, чистые, словно умытые недавно прошедшим дождем.

На завалинке сидит старый, седобородый казак с георгиевскими крестами и внимательно слушает порывистого чубатого паренька с орденом Славы на груди. И видно, старику хочется вернуть что-то свое, он поощрительно повернул голову в сторону молодого рассказчика, а тот, увлекшись, оживленно жестикулирует...

— Понимаете, тема близка, идея найдена, а вот колорит еще не передан. Наверно, нужно оставить, отойти немного и потом снова взяться. Да что это я своим увлекся? — спохватился художник. — Вы, юноша, кажется принесли кое-что?.. Работаете пером и акварелью? Маслом еще не пробовали?

Мы возвращались от художника в сумерках. Андрей был взволнован, и я, понимая его состояние, молчал.

— Знаете, что он мне в коридоре сказал, когда мы прощались? «В любое время, говорит, юноша, приходите ко мне, я буду рад вам». Да я... да я...

Мы подошли к воротам училища. Откуда-то издали — наверно, из актового зала — доносились звуки духового оркестра.

Андрей, попросив у меня разрешения уйти, задумчиво пошел к парку: ему хотелось побыть одному, разобраться в своих ощущениях.

А я подумал, глядя ему вслед:

«Надо почаще отпускать его к Михаилу Александровичу, раздобыть масляные краски. Надо у всех наших ребят выращивать любовь к музыке, живописи, литературе. Это очень важно».

ЧАСЫ ДОСУГА

Зорину долго не удавалось найти такого библиотекаря, который был бы не только знатоком книги, но и опытным воспитателем.

Наконец ему повезло. На работу в училище приняли Марию Семеновну Гриневу — маленькую, белую, как лунь, старушку, в больших роговых очках, вечно белоснежной шелковой кофточке и черной юбке с широкими бретельками через плечи.

Неутомимая, богатая на выдумки, Мария Семеновна то устраивала выставки, то проводила читательскую кон-

ференцию: «Борьба с иностранщиной в русской художественной литературе», мастерила с ребятами монтажи: о пятилетке, о родном городе, о героях труда, завязывала переписку с автором новой интересной книги, а если была возможность, приглашала его в училище.

То ли потому, что уж очень она была какая-то домашняя, сердечная — с темными щелочками глаз, пухлыми, проворными руками, — то ли огромной была потребность детей в материнском теплом взгляде, участием слове, но к Гриневой льнули все.

К ней приходили с письмами, поверяли немудреные секреты, прибегали спросить значение слова, рассказать о споре в классе, о своих обидах и радостях. Она никого не оставляла без внимания и участия. У нее была крохотная комнатка, примыкающая к читальному залу, где среди каталогов, вырезок, списков она выслушивала самые «ответственные» тайны.

Историю Каменюки Мария Семеновна в свое время хорошо знала и как могла смягчила отношения отделения к Артему. А позже с такой же готовностью взяла под свою защиту Геннадия.

Это не было добреньким всепрощением. Мария Семеновна умела и пробрать кого следовало, и непритворно рассердиться, но все это у нее получалось как-то по-матерински, она быстро отходила и не забывала потом заступиться, посоветовать.

Она была близка ребятам еще и потому, что потеряла в войну своего единственного двадцатитрехлетнего сына Федю — героя-артиллериста, и ребята своими чуткими сердцами чувствовали, что теперь в каждом из них Мария Семеновна видит своего Федю, старается сделать их похожими на него.

...В последнее время Артем «запойно» читал: на ходу, пристроившись где-нибудь на подоконнике, если удавалось — на уроках, проявляя при этом удивительное умение распределять внимание между книгой под крышкой парты и учителем. Книги отнимали, Артема наказывали, но страсть углублялась и, правду говоря, к ней относились все же терпимо.

Всего два дня назад взял Каменюка «Как закалялась сталь», а сегодня уже возвращал. Читал ее лихорадочно, с пересохшим от волнения горлом, находясь словно в тумане.

— Ну как? — радушно спросила Артема Мария Семеновна.

— И-их! Замечательная! А Корчагин... Вот это человек! Всем нам пример. Трудностей никаких не боится... Наоборот... — и Каменюка, захлебываясь, стал передавать содержание книги.

— А ты заметил, как Павел боролся с дурными привычками — бросил курить и ругаться? — спросила Гринева. Артем с недоумением посмотрел на нее, — вот уж на что не обратил внимания, — но вдруг вспомнил:

— Верно! Ну, дак он же все мог! Пустую болтовню не любил. Сказал: брошу курить, и бросил... А как здорово Жухрая выручил! — Артем готов был уже снова предаться воспоминаниям, но Мария Семеновна спросила, строго глядя сквозь стекла очков:

— Говорят, ты ругаешься?

Каменюка неловко замялся, но правдиво сказал:

— Иногда, Мария Семеновна... Просто невозможно выдержать.

— Мне это очень неприятно, — огорченно сказала она, — мой Федя никогда не ругался, постарайся, Тема, и ты...

«Мой Федя», «постарайся и ты», — это звучало как «мои сыновья».

— Постараюсь, — искренне сказал Артем и твердо добавил: — Слово мое верное: ругаться не буду.

— Какую же тебе книгу дать? — будто они только об этом и говорили, в раздумье произнесла Мария Семеновна. — Есть хорошая — о Фрунзе Михаиле Васильевиче.

— Дайте, пожалуйста!

Гринева отошла к полке и наощупь достала книгу в коричневом переплете. Протягивая ее, посоветовала:

— Ты особенно обрати внимание на честность Арсения, — так рабочие звали молодого Фрунзе. Царские судьи собирались приговорить его к смертной казни... Во время суда, в перерыв, подбегает к Арсению защитник и предлагает, мол, выступите, в последнем слове отрекитесь, молодой человек, от своих идей, скажите «заблуждался по молодости» — вас и помилуют. Арсений очень рассердился на такое гнусное предложение, возмущенно ответил: — Я убеждениями не торгую, такой защитник, как вы, мне не нужен! — Мария Семеновна замолчала.

— А дальше! — не выдержал Артем.

— Приговорили Арсения к смертной казни, он же, сидя в одиночке, спокойно стал изучать иностранный язык, а потом выбрал подходящий момент и бежал.

— Здорово!

— Опять ты, Тема, руку в кармане держишь, — укоризненно посмотрела Гринева.

Каменюка виновато выдернул руку из кармана. — Ну, я пошел, — сказал он и, нетерпеливо перелистывая полученную книгу, скрылся в дверях.

Авилкин принес сдавать «Руководство для постройки авиамоделей». Залихватски шлепнул книгой о стойку:

— Все изучено! Теперь для прогресса надо книжечку потолще.

Мария Семеновна посмотрела на возвращенную книгу и нахмурилась:

— Ты не умеешь обращаться с книгами... Смотри — обложка стала грязной, надорвана... Подклей, оберни — тогда получишь следующую... Да и то в последний раз, если не научишься аккуратности!

Авилкин помялся, но делать было нечего, и с напускной готовностью сказав:

— Есть подклеить и обернуть! — ретировался.

Володя Ковалев, здороваясь, приветливо улыбнулся Марии Семеновне:

— Я к вам с просьбой, — обратился он, — мне нужен материал по истории наших советских орденов... текст указа о награждении товарища Сталина первым орденом. Капитан Беседа попросил в его отделении альбом выпустить... Я набросал план, потом посоветуюсь с майором Веденкиным.

Ушел и Володя. Кириюшу Голикова, мрачного и расстроенного, Марии Семеновне пришлось увести в «комнату откровений».

Дело в том, что Кирилл последние три месяца настолько увлекался устройством радиоприемника в классе и радиофицированием училища, что запустил учебу и успел схватить несколько двоек. Мария Семеновна, как только Голиков подошел к ней, сразу догадалась.

— Получил письмо из дома?

— Да, — уныло кивнул головой Кирилл, — папа недоволен. Вот, — он протянул письмо.

«Здравствуй, сынок! Шлю тебе свой чистосердечный привет и желаю здоровья. Кирюша, вчера мы получили письмо твоего воспитателя с листом твоей успеваемости... Должен признаться — утешительного мало. Хотя двоек и нет, но ты ведь типичный троешник. Очень это обидно! Я учился в том же городе, где и ты сейчас учишься, в нелегкий 1933 год, а отметки имел только хорошие и отличные, был зачислен на доску почета. Воюя на фронте Отечественной войны, тоже не последним был. Ты это знаешь. Теперь, после войны, вся страна напряженно трудится, все отдают свои силы общему делу! А ты? Я бы обо всем этом тебе не писал, но хочется задать тебе, Кирюша, вопрос: какое же ты имеешь право отстаивать от меня, от всех нас? О чести забыл? В одной из боевых характеристик твоего отца записано: «На всем протяжении наступательных операций показал себя способным офицером, могущим реально оценивать обстановку. Дисциплинирован, требователен, исполнитель, пользуется заслуженным авторитетом...» В твоей же краткой характеристике капитан пишет: «Воспитанник Голиков имеет хорошие способности, но не усидчив в работе. В тетрадях грязь, записи небрежные...»

Сопоставь эти две характеристики и сам сделай вывод.

Поверь своему отцу, если ты считаешься с его мнением, что учиться трудно, но эту трудность надо преодолеть и то, что приобретешь в учебе, пригодится тебе в дальнейшем.

Еще раз требую — вдумайся в жизнь! Обнимаю и целую. Твой отец».

Прочитав письмо, Мария Семеновна сняла очки и внимательно посмотрела на Кириллу.

— Неприятная история, — через силу скривил губы в улыбку Кирилл.

— Дело вполне поправимое, — успокоила его Гринева, — думаю, ты сегодня же напишешь отцу, что краснеть ему за тебя не придется. А главное — следует подумать о чести нашего училища... Лучшие люди страны за первенство борются, вот смотри, портреты героев труда, — она протянула свежий номер газеты... Разве ж мы можем стоять в стороне от всенародного дела, кое-как учиться?

— Пойду капитану письмо покажу! — решительно сказал Голиков. — Вы за меня будьте спокойны, Мария Семеновна...

В класс вошел окруженный свитой «тутукинцев» Владимир. Заметно подрос за последний год, но неизменно улыбается «от уха до уха» Сенька Самсонов. Доверчивый Дадико льнет к Ковалеву, не сводя с него темных выразительных глаз. Владимир возмущенно говорит Самсонову:

— Я уже дважды показывал тебе, как по-армейски заправлять койку, и вот сейчас опять увидел в спальне кто его знает что!

— Немного перекивил... — виновато оправдывается Самсонов, — я не так простыню подвернул... Старался, но немного перекивил...

— Предположим... Ну, а почему ты вчера невнимательно нес наряд, получил замечание от офицера?

— Понимаешь, — помаргивая белыми ресницами, объясняет Сенька, — проклятая забывчивость...

— Не понимаю и понимать не хочу! — категорически отрезал Ковалев. — Ты вообще, Семен, вряд ли отдаешь себе отчет — что значит быть военным человеком. Вот сейчас мы шли по коридору, а ты так отдал честь сержанту, что стыдно было на тебя глядеть. Как будто муху отогнал! В конце концов думаешь ты стать строевым офицером или нет?

Самсонов сокрушенно вздохнул:

— Думаю, — меланхолически сказал он и, расправив гимнастерку вокруг ремня, добавил, решительно насупив брови:

— Я примусь за себя как следует!

— Ну смотри, забывчивый человек! — уже снисходительно произнес Ковалев и, подхватив его за локти, подбросил вверх, поймав на лету. Сенька от удовольствия запищал.

— Подождите одну минутку, — попросил юных друзей Ковалев, — я приберу книги, и мы пойдем в тир.

Володя, отличный стрелок, помогал офицеру обучать ребят стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Ковалев открыл дверцу книжного шкафа и стал аккуратно складывать книги на своей полке.

— Ой, книг сколько, — восторженно расширил глаза Дадико, — вы умные!

— Куда там! Ужасно «вумные», — усмехнулся Володя и серьезно добавил:

— И у вас, когда выпускниками станете, столько книг будет. Да еще, гляди, мои как раз к тебе попадут, — при-тянул он к себе за плечи Мамуашвили. Дадико доверчиво прижался к нему, но тотчас отодвинулся — что за нежни-чанье.

— А что это значит логика? — спросил малыш, взяв в руки тоненькую книгу в серебристом переплете.

В дверь класса просунулась рыжая голова Авилкина:

— Андриюша, ты не забыл?

— Иду... иду... — с трудом отрываясь от работы, от-ветил Сурков, — сейчас...

Андрей назначил на пять часов вечера заключитель-ное занятие кружка «оформителей боевых листов».

Кружок этот он создал в роте Тутукина еще в лагере и успел научить ребят писать различными шрифтами, соединять краски, составлять макет газеты и укра-шать ее.

Сегодня «сдача пробы»: каждый «оформитель» дол-жен представить сделанную им газету на тему: «Дисци-плина — мать победы». Если газета удовлетворит Сур-кова, он от имени комсомольского бюро выдаст «удосто-верение редактора» «оформителю».

Больше всех волнуется Павлик Авилкин. Может быть, потому, что считает свою газету лучшей. Он разыскал где-то лозунг — «Люби свое училище, береги его честь, уважай традиции», — написал его крупными красными буквами вдоль всей газеты и возлагал большие, често-любивые надежды на эффект, который произведет его выдумка. Кроме того, в газете Павлика был особый раз-дел: карикатуры на поджигателей войны.

Андрей собрал «редакторов» в общеучилищной «ком-нате печати» (здесь было все необходимое для работы) и, переходя от одной газеты к другой, делал замечания:

— Критику острее давайте...

— Вот, это хороший заголовок — «Сжились с безобра-зиями».

— Длинная заметка, лучше побольше их, но поко-роче...

В общем, видно, всем придется выдать удостоверения.

Стояло погожее утро. Утро, в которое легко дышится, играет румянец на мальчишеских щеках и голоса раздаются по-особому звонко. Все училище высыпало на улицу — благоустраивать город. Глухие звуки лопат подходят на докторское выстукивание.

Воскресник тщательно подготовили. Секретари партийных организаций провели беседы с активистами комсомола. Активисты выступали по радио, спрашивали в листовках: «Что сделаешь ты для благоустройства родного города?» «Кто у нас будет лучшим посадчиком деревьев?»

На общеучилищном комсомольском собрании решили выполнить двойную норму против данной Горкомом комсомола.

В «Боевых листках» появились заголовки: «Поломать дерево — секунда, вырастить — годы», «Деревья и воды — краса природы».

...Город в строительных лесах, с мостовыми, развороченными для прокладки кабеля, с грудями песка, штабелями кирпича и леса походил на огромный лагерь новостройки.

Трудолюбиво бегали грузовые машины, монтеры на высоких железных столбах прилаживали шары плафонов.

Ритм труда, общее увлечение им передались и суворовцам.

Отряды их, «приданные» телефонистам, водопроводчикам, мостовикам, землекопам, влились в общую массу. Отличала только одежда.

Отделению Беседы досталось посадить саженцы за городским стадионом. Работали дружно, все вместе; не было только Илюши Кошелева, он колол дрова, да Павлика Авилкина — мыл пол в классе.

Оркестр без усталости играл марши и веселые песни. Под них особенно хорошо работалось.

Беседа, на минуту оторвавшись от работы, с любовью посмотрел на черные фигурки с кирками, лопатами, ломами в руках. Ребята азартно возились в земле, перекликались, подбадривали друг друга...

Дадику, как всегда, старается быть поближе к Володе. Ковалев уступает ему только что вырытую ямку, а сам начинает копать рядом, мурлыча про себя песенку в лад оркестру.

— Володя, — мечтательно спрашивает Дади́ко, склонив голову набок и любуясь врытым деревцом, — как ты думаешь, при коммунизме здесь густая аллея будет?

Ковалев ласково-поощрительно смотрит на Мамуашвили:

— Будет! — уверенно говорит он. — А мы с тобой, уже офицерами, приедем в наше училище, в гости, и зайдем сюда — погулять... Ты станешь капитаном... Здорово? а? Капитан Мамуашвили!

У Дади́ко от удовольствия мгновенно розовеют упругие щеки, растягиваются в улыбку толстые губы, ему хочется тоже сказать что-нибудь приятное другу, но он не знает — что.

— А я тебя... я тебя... тогда в кино поведу и мороженым угощу... — Дади́ко кажется это пределом будущих возможностей, и он готов их щедро предоставить другу.

После второго завтрака, в полдень, старшие роты отправились в городской театр. Володя решил остаться: он обещал Павлику и Илюше, освободившимся от наряда, пойти в гости ко мне, я их давно приглашал.

Они застали меня в сарае, я возился с пилой, точил ее. Ребята с готовностью стали помогать, а получасом позже гости сидели за столом и с увлечением уплетали жареную картошку с колбасой. Ведь вст недавно завтракали и была эта же самая картошка и наелись доотвала, а какой вкусной кажется она в гостях: хрустящая, особенная. К чаю я поставил на стол коробку с шоколадными конфетами «пьяная вишня». Ави́лкин никогда таких не ел и все целился еще и еще выковырять из коробки, но деликатный Кошелев осуждающе смотрел на него и тихонько толкал под столом ногой Павлика.

Я спросил Павлика о бабушке: пишет ли, об учебе: много ли хороших оценок?

Сказывается, дело значительно улучшилось.

Но Ковалев не был удовлетворен своим подшефным и настойчиво спрашивал:

— А почему ты вчера тройку по математике получил? У тебя же хорошие способности, мне говорил Сергей Герасимович, он как-то ассистентом у вас был на экзаменах... Что же это получается: все люди нашей страны с удвоенной энергией пятилетку выполняют, а ты в полсилы работаешь.

В общем Павлика так «прижали», что он вынужден был дать слово эту четверть закончить хорошо.

— Очень неприятно, когда окружающие недовольны тобой, — сказал он в заключение.

— А я володино стихотворение наизусть выучил, — торжествуя, сообщил Илюша. И, не ожидая просьб, начал выразительно декламировать — видно, ему это доставляло большое удовольствие:

И если только мы услышим
«Вставай народ, опять война!»
Мы в дневнике войны запишем
Простые наши имена.

Володе и льстило, что Илюша переписал из альманаха первой роты это стихотворение, выучил его, и было в то же время неловко — не подумал бы я, что он, Володя, гонится за известностью, что ему нужна популярность. Ведь он, когда пишет стихи, думает только об одном: выразить чувства, теснящиеся в груди, излить то, что волнует.

— Стихотворение неплохое, — сказал я, — только надо упорнее искать свои краски, образы, сравнения, и знаешь, Володя, ты, когда офицером станешь, не бросай писать, это твое богатство...

— Я когда-нибудь напишу поэму, — невольно вырвалась у Володи его сокровенная мысль, и глаза взволнованно заблестели, — напишу о нашем училище, о дружбе, о наших офицерах...

Проводив гостей, я сел к столу записать мысли, вызванные приходом ребят.

Дружба наша росла, наливалась силами, превращалась в драгоценную основу жизни. Ради одного этого стоило отдавать всего себя.





ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ

НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Этот учебный год начался необычно. Шутка сказать — впервые в пятилетней истории нашего училища появились выпускники! Для ребят моего взвода наступили последние месяцы пребывания в училище. Выпускник! Это звучит внушительно... К нему особое отношение офицеров, малышей, товарищей из других рот. Ему вот-вот предстоит сдавать экзамены на аттестат зрелости. Ему разрешено носить прическу, свободно распоряжаться своим временем после обеда, он проходит стажировку в командовании взводом (так теперь называется отделение), на парадах участвует с оружием. И по десяткам примет — по тому, что за каждым закрепили карабин, по тому, что за малейшую провинность строго взыскивают, что утром на подъем дают теперь три минуты — по десяткам примет чувствовалось: приближается офицерское училище, скоро, скоро вместо алых погон лягут на плечи курсантские, а они потяжелей.

Выпускник! Особая пора, когда ты еще здесь, в Суворовском, и уже не здесь. И сразу повзрослел, как старший брат в семье, готовый вот-вот начать самостоятельную жизнь.

Старшиной роты генерал назначил Гербова, присвоив ему звание «вице-старшины»; командирами взводов стали Ковалев и Сурков. Круглосуточный наряд по роте назначали теперь из выпускников.

Жизненные осложнения — обязанность дежурившего отвечать после суточного наряда пропущенный урок так, словно и не пропускал его, усиленная тренировка в стрельбе, дополнительные занятия по физкультуре и многое другое — все эти жизненные осложнения воспринимались не как обременительная выдумка начальства, а с чувством необходимости и даже эдакого задора: давай, давай, чем труднее и суровее служба, тем интереснее — не неженками растем, сталинскими солдатами.

А в сущности — ребята! Когда генерал разрешил им отращивать волосы, мгновенно у всех появились расчески и несчастные «ежики» волос потеряли покой. Их прилизывали, завязывали на ночь, смачивали водой и прижимали ладонями. Их заставляли лечь, а они непокорно торчали кустиками в разные стороны. Потом ребята бегали в мастерскую на примерку нового курсантского обмундирования и сшитых по ноге сапог. Просили:

— Сапоги, пожалуйста, сделайте, как у командира роты, носки — уточкой...

Галифе было синее, гимнастерка — из зеленого сукна, а пилотка, если ее сдвинуть набекрень, делала похожим на летчика.

Подполковник Островский устроил смотр выпускникам, одетым в курсантскую форму. Потом форму эту спрятали до лета. До тех пор, пока не будут сданы все экзамены. А их одиннадцать. И сдашь ли? Ведь закон такой: на первом же экзамене по литературе напишешь на двойку — и не допустят к испытаниям по другим предметам. Через год держи экзамен снова. Нет, уж лучше теперь сидеть до часу, до двух ночи. И они сидят. Сами решили на комсомольском собрании проводить товарищеские диктанты, помогать друг другу, составлять «личные планы» на каждую неделю, в обеденный час говорить только по-английски.

Ковалев взялся восполнить пробелы в знаниях Гербова по алгебре. Пашков составляет «минированные» диктанты для Братушкина, Павлик Снопков объявил среду своим «иностранным днем» и не отвечает на вопросы, заданные ему в этот день на русском языке. А в немного свободное время, чаще всего поздно ночью, перед сном, вспыхивает спор: в какой род войск итти.

Владимир за пехоту:

— Общевоинской командир должен быть всесторонне развитым, чтобы овладеть сталинским искусством побеждать.

Семен рассудительно доказывает:

— Без артиллерии мы не выиграли бы войну...

Савва мечтает попасть в автомобильное училище: «Армии завтра будут на автомобилях». Думали не о том, где удобнее, а о том, где смогут принести больше пользы. Спорам нет конца, и они как-то тоже приподнимают.

Все вокруг напоминает о приближении решающих дней: заголовок в ротной газете: «Выпускник, ты готовишься отвечать перед Родиной!»; выступление по радио Гербова: «Как я готовлюсь к экзаменам»; «Доска почета» в читальном зале с фотографиями отличников. Отрывной календарь с большими листами «До экзаменов осталось 40 дней». Потом 30... 20...

Мы стараемся поддержать этот накал рассказами о том, как сами готовились к экзаменам, встречей наших ребят с выпускниками школ и вузов. Вчера в небольшой комнате офицерского отдыха комсомольское бюро провело слет передовиков учебы. Было уютно, весело и просто. Пили чай. Ели торт с надписью «Отличникам первой роты». Потом как-то само собой получилось, что ребята начали обмениваться опытом.

Андрей Сурков, немного похудевший в последние месяцы, возмужавший, говорил баском:

— Я думаю, половина успеха — в разумной организации труда... Я, например, сначала готовлю легкие предметы, затем стараюсь перемежать науки точные с гуманитарными. После напряженной умственной работы физкультурой сбрасываю с себя усталость...

Веденкин, который был на этом слете, спросил у Пашкова:

— А почему у вас при ваших способностях так много четверок?

Гербов осуждающе сказал, не дождавшись ответа Геннадия:

— Бойтся подорвать драгоценное здоровье. Спит после обеда обязательно. Вы посмотрите, у него уже второй подбородок намечается.

Пашков поморщился:

— Я точно выполняю распорядок дня, и у меня не хватает времени на безукоризненное овладение материалом. Полагаю и отметка «четыре» неплохая.

Гербов непримиримо перебил его:

— Первая рота должна быть ведущей, как направляющий в строю. Понятно?

На пятом году существования училища в роту Тутукина принят был новый воспитанник, отличник шестого класса школы Министерства просвещения, Витя Полозов — скромный, дисциплинированный подросток лет четырнадцати. Но как разительно отличался он от наших «ветеранов»! Вот когда офицеры убедились, так сказать, воочию, что и в смысле военного воспитания ребят сделано изрядно. Наши «вояки» были уже армейцами, это чувствовалось в каждом движении, в их облике и привычках.

Офицеры настолько пригляделись к своим питомцам, что не замечали их бравости, выправки, безупречного поворота, смелого взгляда, которые теперь при сравнении ярко бросались в глаза. Нам казалось совершенно естественной, само собой разумеющейся, тактичность при обращении к старшим, аккуратность и точность. Дети уже успели оценить красоту военной жизни, полюбили самых строгих воспитателей (ух и жмет! Вот это да!); им нравилось преодолевать трудности. Привычки перерастали в качества характера. Рождался стиль — показатель зрелости коллектива. Он сказывался в «мелочах»: великолепно заточенном карандаше, сияющих пуговицах мундира, неписанном правиле для малышей — в столовой не уходить раньше старших, провожать их стоя. Определился тон коллектива — бодрость, энергичность, выносливость.

Вновь прибывший — Витя Полозов — оказался спокойным, кроткого, веселого нрава подростком, но, сам того не замечая, он совершал чудовищные, с точки зрения военных людей, «преступления». Уходя из канцелярии, забывал спрашивать разрешения у офицера, когда же ему указывали на это, он в ответ бормотал что-то оправдательное, беспомощно переминаясь с ноги на ногу.

Был он весь какой-то обмякший, неуклюжий. За партой сидел, подперев подбородок рукой, выходя отвечать, держался за доску, словно не надеялся устоять без под-

порки, а докладывая офицеру мотал головой вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза. За военное воспитание новичка с готовностью принялось все отделение, и Виктор ускоренно наверстывал пробелы.

Глядя на него, я думал: а каким должен быть наш выпускник училища? И решил: помимо всего остального, он должен быть военным молодым человеком. Возможно, среди десятиклассников-выпускников кто-то один будет лучше плавать, чем любой суворовец-выпускник, но зато если придется переплывать реку в одежде всем десятиклассникам данной школы и выпускникам училища, то все сурововцы реку обязательно переплывут, а какая-то часть десятиклассников будет нуждаться в помощи.

Если будет поставлена задача выйти из леса в точно назначенное место, то возможно, кто-то из десятиклассников сделает это безупречно, но иные не смогут, а сурововцы все обязательно выйдут из леса именно туда, куда следует.

И еще одно чрезвычайно важное обстоятельство: каждый военный молодой человек должен приобрести у нас умение и вкус к политработе, неотъемлемой части будущей своей деятельности. Если химику, агроному, механику, врачу, для того чтобы стать полноценным специалистом, надо овладеть наукой наук — марксистско-ленинским учением, то офицеру тем более необходимо быть политически подготовленным, потому что он не только военный, но и идейный воспитатель солдат, потому что наша Советская Армия — великая сила и школа коммунизма.

Когда перед моим мысленным взором возникает образ выпускника, каким он должен быть и будет, я вижу совершенно ясно: это молодой большевик в военном мундире, воспитанный на традициях Отечественной войны, человек, от начала своей жизни сформированный Советской Армией и для армии. Он в Суворовском училище уже ясно самоопределился, избрал жизненный путь, выработал твердые убеждения и характер. Такому не страшны толчки и ушибы; смелый, деятельный, он будет неустрашимо идти вперед, и никакие трудности и невзгоды не лишат его оптимизма, воли...

Но для этого, как говорит Зорин, надо очень и очень много работать.

БЕСЕДА ПРОДОЛЖАЕТ ВОЕВАТЬ

Павлик оказался в отделении Алексея Николаевича «последним могиканом» бесславного племени лодырей.

Уже давно переборол сей недуг Артем, уже получал четверки по русскому языку Самсонов, уже редкостью вообще стала тройка в отделении, а Павлик Авилкин никак не мог преодолеть в себе легкомыслие, надеялся на авось, на подсказку, на случай.

Его не раз укоряли на классном собрании, «продергивали» в «Боевом листке». Действовало это внушение не более чем на два дня, а потом, как с гуся вода.

Для его четырнадцати лет чувство ответственности у Авилкина было развито недостаточно, а серьезность и того меньше. Если он что-нибудь делал, то частенько действие настолько опережало здравую оценку совершаемого, что все только ахали и удивлялись — «додумался!». Решив, например, закалять себя, Павлик избрал такой способ, как пробежка босиком по снегу. Как только этот гениальный замысел осенил его, он, едва дождавшись отбоя, снял ботинки, носки и по морозу начал обегать три назначенных самому себе круга.

Хорошо, что проходивший в это время мимо стадиона Веденкин, заметив странного бегуна, заинтересовался им и прекратил закалку в самом ее начале.

В общем и у отделения, и у Беседы было больше чем достаточно оснований выражать недовольство Авилкиным.

Но вот подросла неожиданная помощь. Пришло письмо от... председателя колхоза, в котором работала бабушка Авилкина.

Бабушку Авилкин любил самозабвенно. Ее — единственного родного человека на белом свете — он пуше всего боялся чем-нибудь огорчить. На каникулах Павлик изо всех сил старался помогать ей. Обычно непоседливый, нетерпеливый, дома он, как телок, льнул к бабушке, мог часами просиживать рядом с ней на невысокой скамеечке, помогать работать, рассказывая о роте, о генерале, о своих похождениях — всегда возвышенных и героических.

Как-то Авилкина вызвали на комсомольское бюро первой роты и потребовали объяснения, почему он подводит училище? Павлик клялся, что исправится, но скоро забыл

о своих клятвах. Тогда, по моему совету, бюро поручило Владимиру написать письмо в правление колхоза той деревни, откуда приехал Авилкин.

Ответное письмо Павлику написал сам председатель колхоза «Путь Ильича» — Афанасий Лукич Папков, прославленный партизан отряда, которым командовал погибший отец Павлика.

«Что же ты нас срамишь? — возмущенно спрашивал председатель колхоза. — Что же ты честь отца позоришь? Какими глазами на нас глядеть будешь, когда на каникулы приедешь? Ты, может, считаешь — хорошо учиться это только твое дело? Заблуждение! Наше это дело — общенародное. На нас весь мир смотрит: как работаем? какие успехи? Учти это и поступай государственно. Бабушка твоя в свои 63 года заслужила звание Героя Социалистического Труда, а ты с ней не считаешься! Думаешь, ей приятно, когда люди спрашивают: «Как внучек учится?» — отвечать: «Плохо... безответственный он».

Слушай, Павел, наказ всего колхоза — немедленно выступи там у вас по радио, перед всем училищем, и скажи: «Даю слово сына геройского партизана Анатолия Ивановича Авилкина, что буду по-советски относиться к своему делу». Когда это слово дашь — напиши нам и, смотри, — сдержи его! Не сдержишь — не являйся в село... И бабушка, всеми уважаемая Евдокия Петровна, писать тебе не станет, позорно и горько ей за тебя».

Такой общий нажим на Павлика возымел действие.

Авилкин изменился, особенно за последние месяцы. Сыграли свою роль и воспитатели, и комсомолы, и товарищи по классу, и письмо Афанасия Лукича.

Накопившись, качества сделали скачок в новое. Но это было только кажущееся «вдруг».

В действительности у ребенка под влиянием разумных воспитательных воздействий происходит непрерывное нарастание положительных качеств, приводящее в конце концов к скачку. Для неискушенных это — «вдруг», для воспитателя — предвиденный результат. Если ты неопытен, нетерпелив в ожидании этого превращения, готов при временных неудачах объявить Ваню или Петю неисправимыми, — ты еще не настоящий учитель.

В ребенке уже заложены тобой какие-то положительные начала, они пробивают себе нелегкий путь наружу и, если перестают получать поддержку извне — тепло

твоего участия, могут заглухнуть гораздо быстрее, чем возникли, принеся тяжелые осложнения.

Пусть сегодня «паршивый мальчишка» кажется тебе, несмотря на долгие твои усилия, таким же, каким он был полгода назад, или даже хуже, чем был раньше, — это обман педагогического зрения. Тебе, утомленному неудачами, только кажется, что он недостоин уважения и возни. Но разгляди его возможное, его близкое и далекое завтра, то, что в нем накапливается и формируется, и отнесись сейчас к нему с уважением и терпеливостью. Ничто новое легко не дается. Найди тот решающий, переломный прием, что ускорит «вдруг». И наконец совершится «чудо» для стороннего наблюдателя, а к тебе придет заслуженная предвиденная победа.

Но и тогда не думай наивно, что возврат к старому невозможен. Новое еще не окрепло, его надо развивать, рецидивы, хотя уже и не типичны, но естественны. Они — последние цепкие усилия отмирающего плохого.

В этой диалектике нарастания новых качеств один из основных законов правильного воспитания. Непонимающий ее похож на летчика, потерявшего ориентацию.

Как-то Беседа, вызвав Павлика к себе, стал расспрашивать его о доме, о бабушке; и мальчик восторженно начал рассказывать, как до поступления в училище, когда живы были мама и папа, он летом сделал на огороде шалаш и «выезжал в лагери», ставив у бабушки кастрюлю, нож и вилку.

При рассказе о бабушке зеленоватые глаза Павлика светились мягким светом:

— Когда немцы зашли в наше село, мы семь дней всей семьей в степи, в кукурузе, скрывались. Потом отец ушел с партизанами, а нам сказал: «Возвращайтесь домой, возможность будет, я вас в отряд заберу»... Мы возвратились, а немцы на воротах, напротив нашей хаты, портрет вывесили «Гитлер-освободитель». Морда у него такая противная, так бы и плюнул. А бабушка говорит: «Воистину освободитель... от земли и счастливой жизни». А я через час из хаты тихонько-тихонько вышел и тому Гитлеру глаза выколол. Бабушка в окно увидела... Когда я пришел — обнимает меня, плачет... И рада, и боится...

— Вы, оказывается, смелый человек! — одобрительно сказал капитан Беседа.

Павлик скромно потупил голову.

— Я уверен, — продолжал воспитатель, — что вы будете храбрым защитником Родины. О каких отважных советских офицерах вы читали в этом году?

Павлик начал рассказывать, что читал о Чапаеве, Фрунзе, о летчике-комсомольце Талалихине.

— Это мой любимый герой, — с разгоревшимися глазами рассказывал мальчик. — Смерть презирал... Главное для него было — выполнить задание Родины, и он, — Павлик изогнулся, словно для прыжка, возбужденно прожужжал: вж... вжжж-вж, — пошел на таран!.. Отбил хвост у фашистского самолета!

После этого разговора Павлика ни разу нельзя было обвинить в трусости, вроде той, какую он проявил когда-то, покинув на поле уличного боя Артема, вступившегося за него. Теперь, пожалуй, следовало говорить о некоторой даже безрассудности Авилкина в самовоспитании храбрости.

Так, например, поверив кому-то на слово, что в дальнем углу сада уличные мальчишки избили воспитанника четвертой роты и отняли у него пряжку, Авилкин решил проверить себя. После отбоя он выскользнул из спальни и нырнул в темную чашу сада. Мурашки бегали по спине. Мальчик едва отрывал ноги от земли. Такое состояние бывает во сне, когда от кого-то убегаешь, а ноги не подчиняются тебе.

Павлик пробрался к ограде. Сел на камень, прислушиваясь и ожидая врага. Казалось, кто-то дышит в темноте — вот-вот набросится. Но никто не появлялся, и Авилкин, просидев в саду полчаса, гордый, с чувством огромного облегчения, возвратился в спальню. В отделении об этом ночном путешествии никто не знал (кроме всеведущего Алексея Николаевича, который догадывался, в чем дело, но делал вид, что не замечает исчезновения Павлика. Воспитатель кое-что должен и не замечать!). Еще зимой Алексей Николаевич во дворе училища попросил Володю:

— Поскольку вы, так сказать, опекаете моего Авилкина, прошу обратить внимание на воспитание у него смелости... Кое-какие успехи в этом отношении есть... Надо их закрепить и развить.

Беседа рассказал о том, что сделано, и дал несколько советов Володе.

На следующий день Ковалев предложил Павлику пойти за город на лыжах. Авилкин с готовностью согла-

сился. Они заскользили вниз, по Кутузовской улице, к заснеженному крутому обрыву с реки.

— Давай спустимся, — предложил Ковалев, когда они остановились у обрыва. Павлик посмотрел вниз. Люди, проходившие внизу, казались крохотными.

— Д-давай, — выдавил из себя Авилкин, все еще надеясь, что Володя раздумает.

— Ну, за мной! — крикнул Ковалев и ринулся вниз, вздымая снежную пыль.

Павлик тоскливыми глазами проследил за Володей, пока тот не достиг подножья горы. «Он взрослый, — искал лазейку Павлик. — Уйду!.. Скажу ремешок лопнул...» Но взглянув на Ковалева, машущего ему рукой, Авилкин энергично надвинул шапку на лоб, тоненько крикнул «ие-ех!» и с отчаянной решимостью в глазах, оттолкнувшись, помчался вниз. На половине спуска он растерялся, лыжи скрестились, и Павлик врезался головой в сугроб. Шапка свалилась, и красноватая голова выделялась на снегу, как помидор. Но Авилкин тотчас поднялся, приладил лыжи и через мгновение очутился возле Володи.

— Ушибся? — обеспокоенно спросил Ковалев.

— Пустяки! — небрежно бросил Авилкин. Щеки у него покраснелись, глаза азартно горели, а шапка, осыпанная снегом, съехала набекрень. Он имел весьма воинственный вид.

— Давай еще раз! — возбужденно предложил Павлик, — теперь полный порядок будет!..

Во время самоподготовки Авилкин занимался рассеянно, все время, очевидно, мысленно переживал лыжную поездку. Наконец, когда поймал себя на том, что невнимателен, заткнув пальцами уши и покачиваясь, стал зубрить правило.

Однако времени вечерней подготовки ему нехватило. География осталась неповторенной.

Уже ложась спать, в нижнем белье, выглянул в коридор. Трусой подбежал к дежурному сержанту, сказал шёпотом:

— Товарищ сержант, я вас очень прошу, разбудите меня за час до подъема... а то я завтра пропал на географии.

— А почему же ты сегодня не выучил?

— Понимаете... у меня происшествие одно произошло. Я старался, но не успел.

Сержант не стал вдаваться в подробности и обещал разбудить Павлика на полчаса раньше других.



Уже более года между отделением Беседы и шестым классом «А» мужской школы им. Чкалова установились дружеские отношения. Приходили в гости друг к другу, устраивали общие вечера, многие из суворовцев по воскресеньям ходили домой к своим новым друзьям.

Начало этой дружбы, строго говоря, положил Артем. Он как-то на улице разговорился с пятиклассником Митей Родиным. Митя спросил:

— А ты хорошо про жизнь Суворова знаешь?

— Ну, ясно! — немного важничая, ответил Каменюка.

— И мы, конечно, о Суворове читали, — пояснил Родин, — но хорошо бы лучше узнать.

— Так я могу к вам притти рассказать! — с готовностью заявил Артем и сам утратил своей решимости.

— Правда? — обрадовался Митя, — я поговорю с Еленой Дмитриевной — нашей учительницей, а ты к нам в класс придешь?..

Артем не рад уже был, что пообещал, но делать нечего — назвался груздем...

— Ну, пока, — щелкнул он каблуками и отдал честь, медленно, словно на руке гири, поднимая ладонь к фуражке.

Артем рассказал Алексею Николаевичу о своем обещании. Беседа с готовностью поддержал его, мгновенно оценив открывающиеся возможности. Он заставил Артема дважды переписать конспект рассказа о Суворове, кое-что дополнил сам, взял в историческом кабинете училища картины о Суворове, и вместе с Артемом пошел в назначенный час в школу.

По дороге давал последние наставления:

— Когда зайдем в школу, фуражку сними... перчатки позже положишь в фуражку...

— Да вы не бойтесь, я не подведу! — уверял Артем, применяясь к широкому шагу офицера.

«Ишь ты, самоуверенный какой», с опаской подумал капитан. Но действительно, — краснеть ему не пришлось. Каменюка держал себя безупречно: со стороны посмотреть — прямо изысканнейше воспитан! Его невозможно было ни в чем упрекнуть. Прежде чем начать свой

доклад, он догадался даже (сам, об этом ему не говорил Алексей Николаевич) спросить у учительницы:

— Разрешите начать?

Учительница удовлетворенно кивнула головой:

— Пожалуйста, — и взглянула на своих детей, мол, слышали? — учитесь!

Ученики смотрели на Артема с нескрываемым восхищением. Вот это парень! Пуговицы мундира сияют, на воротнике какие-то штуки золотые, на брюках прямо генеральские лампасы, а белые перчатки он бережно положил в фуражку. А как говорит — заслушаться можно! — И про Измаил, и про Швейцарский поход, и даже точно объяснил, почему училище Суворовским называется. Сам такой выдержанный, но видно, если его затронешь, — спуску не даст.

Каменюка чувствовал себя великолепно: откуда только появились уверенность, спокойная рассудительность. Он не важничал, не «задавался», но маленькая фигура его буквально излучала достоинство.

— Я вот вам кусочек прочитаю, на память, — сказал Артем, — это Александр Васильевич Суворов племяннику своему написал. Конечно, можно своими словами... Но лучше я — точно.

Каменюка обвел всех взглядом и, вздернув раздвоенный подбородок, начал: — «Будь отважен, но без запальчивости, тверд без упрямства, скромн без притворства... Утомляй тело свое, дабы укрепить его больше», — Артем перевел дух: — Это значит, — пояснил он: — Тяжело в учении — легко в бою. Ясно?

— Ясно, — дружным хором ответили слушатели, в конец покоренные.

Когда Артем кончил — посыпались вопросы. На один из них: сколько наград было у Суворова? Каменюка не смог ответить. Помог Беседа, и мальчик, ничуть не смутившись, подтвердил, словно он знал это, да не успел сказать:

— Точно!

Со средней парты встал востроносенький русский паренек в синей косоворотке. Желая показать свою воинскую искушенность, повернулся к Беседе.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться к товарищу докладчику.

— Пожалуйста, — едва сдерживая улыбку, разрешил Алексей Николаевич.

— Товарищ докладчик, хорошо, если бы ваш класс и наш подружились. У нас авиакружок первый в области.

— Первый в области! — разгорелись глаза у Артема, и степенность его исчезла. Да мы с удовольствием. — Он осекся, посмотрел в сторону воспитателя. Тот одобрительно кивнул головой.

Павлика с острым приступом аппендицита привезли в гарнизонный госпиталь. Беседа, распрощавшись, сказал: «Ну, будь молодцом!» и ушел. Павлика положили в офицерскую палату. Соседом его оказался летчик-лейтенант с переломленной ключицей. Летчик капризничал, как человек, которого одолевают острые приступы боли, скрипел зубами, то и дело вызывал сестру, несмотря на запрет, курил в палате. Павлику лейтенант не понравился, особенно когда тот скверно выругался. Повернувшись к офицеру, мальчик возмущенно сказал:

— Хороший вы пример показываете!

Летчик хриплым, срывающимся голосом грубо бросил:

— Подумаешь, кисейная барышня! Из института благородных девиц! Привыкай!

— Вы так об училище не должны! — задыхаясь, выкрикнул Павлик. — Наше училище... вам смена... — Он резко, словно остановился на бегу, умолк и отвернул голову.

Когда Павлика положили на операционный стол, он твердо решил не проронить ни звука, хотя бы его резали на куски. «Пусть знают, какие суворовцы!» И он, действительно, не только не стонал, но даже пытался смотреть на руки хирурга.

Тупая боль — казалось, вытягивали внутренности — заставила Павлика закрыть глаза. Он плотно стиснул зубы. «Так и на поле боя... Так и на поле боя», — внутренне убеждал он себя.

Когда операция была закончена, высокий, с огромными сильными руками, хирург одобрительно кинул сестре:

— В характере парня есть железо...

Авилкин прошептал побледневшими губами.

— У нас все такие...

На девятый день его выписывали. Уже в форме, прикрытой халатом, зашел он в палату попрощаться с сосе-

дями. Дружелюбно улыбнулся лейтенанту-летчику. Тот с трудом приподнялся — посмотрел на Павлика ласковыми глазами:

— Ты меня извини, что я тогда...

— Да, ничего... ничего... Я понимаю... ведь я не за себя...

— Молодцом, молодцом, — растроганно говорил офицер, — не давай училище в обиду... Вы ж смена наша...

Павлик молча, с чувством собственного достоинства, кивнул головой и крепко пожал протянутую ему руку. В классе он был встречен радостными возгласами, дружескими пожатиями. За обедом Артем налил ему компота больше всех. Поощрительно сказал: «Поправляйся».

ЗРЕЛОСТЬ

Так бывает в семье: ребенок, Васенька, сыночек — и вдруг в какое-то утро заметишь — да ведь он взрослый! Как-то совсем по-новому, серьезно посмотрит на тебя, снисходительно улыбнется при твоей шутке, рассчитанной на ребенка, — у него на все, оказывается, свои взгляды, свое мнение, и готовых рецептов, суждений он не принимает, как прежде, бездумно. Когда же это произошло к нему?

Я вчера пригласил к себе Семена и Володю и вдруг почувствовал — они неузнаваемо возмужали и выросли. Я все время настолько близко стоял к ним в училище, что не замечал этого роста так ясно, как вот здесь, в моей комнате.

Мы говорили... о женской верности, о душевной красоте, о воспитании воли, о том, что такое мужество и благородство. И я с гордостью прислушивался к новым интонациям в их голосе, к их свежим, собственным мыслям.

Внимательно смотрел я на них со стороны как будто «чужими глазами». Володя очень возмужал за последние месяцы. Плечи при взгляде на тонкую, гибкую талию казались особенно широкими.

Яснее определились, словно бы сложились окончательно, черты волевого лица. Темные блестящие волосы оттеняли высокий, чистый лоб. Из-под густых, с мягким изломом, бровей смотрели умные, правдивые глаза с искорками живой мысли. Энергичный раздвоенный подбородок придавал лицу выражение настойчивости, прямооты.

У Семена исчезла былая мешковатость, его движения оставляли впечатление легкости, гибкости, а лицо приобрело недостававший ранее отпечаток твердости.

Вспомнили почему-то Стаховича из «Молодой гвардии» Фадеева.

— Слизняк! — с гадливым презрением бросил Владимир. Да если бы я раненым попал в руки фашистов, я бы постарался убить следователя, в худшем случае — себя, если бы почувствовал, что физические силы иссякают и не выдержу...

Я посмотрел в его смелые глаза, в самую глубину их, и подумал: «Не рисуется, — это зрелость» Она пришла в виде серьезных комсомольских дел, реферата «О приоритете советской науки». Она пришла в умении трудиться, сдерживать себя и быть исполнительным...

— Для нас, — сказал мне недавно Савва Братушкин, — общественный долг — учеба. И в ней, как в бою, победа сама не приходит.

Вот за партией сидит Павлик Снопков, перед ним «Краткий курс истории ВКП(б)», «Блокнот агитатора», томик ленинских сочинений. Павлик мог бы ограничиться учебником, но он до полуночи сидит над конспектом, роется в газетах и журналах...

Зрелость раскрывается в правдивости, смелой товарищеской критике, страстной вере в дело победы коммунизма.

За несколько минут до конца урока майор Веденкин, закрывая журнал, сказал моему классу:

— Ну, а теперь, товарищи, какие у вас есть вопросы, может быть, и не относящиеся к сегодняшней теме?

— Товарищ майор, — поднялся Ковалев, — вот мы вчера в спальне горячо обсуждали — когда полный коммунизм построим? Один скептик говорит: «Не раньше чем лет через тридцать, — пережитки капитализма в сознании, знаете, как сильны!» А я думаю, товарищ майор, гораздо быстрее. Ведь за тридцать лет сколько мы успели сделать: народы сдружили между собой, страну превратили в индустриальную, сельское хозяйство коллективизировали. Да мало ли еще что... Вот мы здесь в училище всего пять лет, а как изменились. Я по себе чувствую... Сказали бы мне сейчас... «Для тебя нет никаких писанных законов, делай что хочешь». И я уверен,

гадостей не делал бы, не бездельничал — мне это все уже не по сердцу. Просто я это внутренне не принимаю.

...Приходит педагогическая зрелость и к нам. Я, например, сумел преодолеть в себе сухость, казенщину в отношениях к ребятам, «найти тропку» к каждому из них. Понял: теплота, близость нужны здесь, в Суворовском училище, больше, чем где бы то ни было.

Прав, тысячу раз прав Зорин, говоря об отцовской строгости, о том, что никогда не следует успокаиваться в поисках новых приемов и форм работы. Наш первый выпуск еще не такой, каким мы хотели бы его видеть. Мы шли наощупь, нередко ошибались, недорабатывали. Но я думаю: теперь движение вперед будет уверенней, мы сможем опереться на свой опыт, на традиции, которые успели заложить, как фундамент, на силу здорового коллектива.

Мы научились «проектировать личность», видеть ее завтра, благородные потенциальные возможности. Мы научились много требовать от человека и очень уважать его.

ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ

Психологию преподает в нашей роте майор Бадаев. Предметом ребята очень заинтересовались, почувствовали возможность извлечь из него для своей дальнейшей работы ценные сведения. Савва Братушкин, первое время относившийся скептически к новому предмету и бурчавший: «Загромождают программу, дали бы побольше военных дисциплин», очень скоро сказал одобрительно: «Толковое дело. Мы ведь все воспитателями бойцов будем». Когда майор Бадаев дал задание написать за два месяца домашнее сочинение на тему: «Как я воспитываю свою волю» — выпускники охотно принялись за работу. Сколько было споров, розысков нужной литературы, сосредоточенного обдумывания и анализа своего собственного небольшого жизненного опыта.

Преподаватель психологии остался очень доволен работами воспитанников, ходил сияющий.

Я попросил Бадаева дать мне для ознакомления сочинения ребят. Потратил на чтение работ два вечера — и не пожалел.

Ковалев в своем сочинении писал:

«От природы хилый, худенький, я, попав в училище, где уже не было ни заботящейся обо мне мамы, ни отца, сразу столкнулся с рядом препятствий.

Обидная снисходительность товарищей больно задевала самолюбие, вызывала душевные переживания.

Болезнь корью еще больше подорвала мое здоровье. Я не мог даже отжаться на полу шесть раз — слабые руки подламывались. Тут-то чаша моего пассивного терпения переполнилась, в конце-концов — «Человек сам кузнец своей воли», — сказал я себе и твердо решил вести непримиримую борьбу со своей «немощью». Тем более, что я к этому времени впервые ясно представил свое будущее. Я стану офицером лучшей армии мира! Это обязывает ко многому. Но надо по-настоящему хотеть. Страстно! Самоотверженно! Устранить ряд помех, и в числе их мою ненавистную квелость.

Физкультура и спорт — вот с чего я решил начать воспитывать в себе упорство и силу.

Наш капитан помог мне.

Приучившись к постоянной тренировке, я через некоторое время добился первых скромных успехов. С каждым днем настроение улучшалось, появилась моральная удовлетворенность — не такой уж я никудышный.

Главным в воспитании моей воли, несомненно, является борьба с остатками вспыльчивости, невыдержанности. Конечно, у меня нет еще качеств, присущих истинно волевому человеку, такому, как летчик Мересьев. Даже маленьких побед над собой я насчитываю немного. Часто бывают срывы. Я долго был, например, рабом своей страсти (игра в футбол), но со временем подчинил ее разуму и сейчас, если мне скажут: «На стадионе игра», я не брошу, как раньше, дело, которым занимаюсь.

Даже такой случай был: однажды я надел уже футбольную форму, бутцы, а офицер приказал мне помочь Геннадию Пашкову домыть пол. Мне хотелось крикнуть: «Но ведь не моя очередь!», однако я только стиснул зубы и сказал: «Слушаюсь».

Я читал с удовлетворением это место и вспомнил еще один случай. Как-то Володя в субботний вечер готов был итти к Богачевым. Я позвонил ему, протянул письмо и ска-

зал: «Срочно доставьте майору Ведынскому на дом». Письмо не было экстренным, его можно было бы переслать с сигнальщиком, но требовалось упражнять Володю в беспрекословном подчинении.

Тень недовольства пробежала по лицу Ковалева, но он согнал ее и с готовностью сказал: «Слушаюсь, доставить письмо майору Ведынскому».

Последним я прочитал сочинение Семена Гербова. Оно начиналось словами Суворова: «Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру».

А дальше, немного взброс, Семён писал:

«До Суворовского училища я как-то не задумывался: волевой ли я человек или нет? И в партизанском отряде и в армии — все получилось как бы само собой. Но, приехав учиться, я все чаще стал задавать себе этот, как я понял, главный вопрос. Правду сказать, первое время я немного «задавался» — внешне это не показывая, а про себя гордился больше, чем надо, — как же, партизан, боец-артиллерист, медаленосец — много ли сравнительно с этим значат... сухая грамматика, или, скажем, педантичная физзарядка. Но вот однажды наш капитан сказал мне: «Воля формируется и в незначительных, казалось бы, действиях повседневной жизни. Военские подвиги редки в мирных условиях, но есть героизм трудолюбия, исполнительности, честности. Этот героизм у нас тоже массовый. Вы, Семен, бывалый человек — честь вам и хвала! Но умеете поддерживать свое доброе имя и в новых условиях. У нас воля это прежде всего организованный труд и быт».

И вот начал я с небольшого. Твердо решил: соблюдать правила сна, лежать на правом боку, не укрываясь с головой, выходить на физзарядку тотчас после сигнала, чистить зубы, отрешиться от скверных привычек (сплевыванье, ругань). Я сказал бы неправду, если бы заявил, что сразу и легко всего добился. Было очень трудно преодолевать юркую мыслишку: «ну зачем ты сам осложняешь свою жизнь? Успеешь еще... Используй скидки на детство». Но я отгонял прочь такие малодушные рассуждения. В прошлом году, когда устраивали у нас дальний поход, я сначала хотел увильнуть, мол, знаю эти походы, совершал их не раз в лесах. Но потом подумал, ведь в офицерском училище курсанты во время похода бу-

дуг присматриваться: «А ну, как пройдет суворовец?» И надо, не полагаясь на «бывалость», закаляться теперь, чтобы позже не опозорить свое училище.

Хороший офицер должен делать все во-время... Мне кажется очень важным для волевого человека уметь разумно и упорно трудиться. «Воля и труд человека дивные дива творят», а я в войну отвык от учебы. И вот стал теперь развивать свою память: в каждые десять дней выучиваю новое стихотворение, в месяц — рассказ, а Владимир меня проверяет. И чувствую — память стала куда лучше прежнего. Я завел специальный блокнот: выписываю туда незнакомые мне слова из книг, газет, нахожу потом объяснения этим словам. Если я лег спать, не доучив уроки на завтра, мне не спится и я заставляю себя встать, закончить работу.

Я стараюсь развить в себе настойчивость. Увлёкся как-то устройством радиоприемника. Первый приемник, собранный мною, не заговорил. Ребята удивлялись. Второй не заговорил, — ребята подтрунивали. Год я подбирал нужный материал, сделал третий радиоприемник, и он заговорил у меня!

...У нас в полку замполитом был майор Николай Константинович Богданов — такой жизнерадостный, сердечный, бесстрашный человек. Он мне не раз говорил: «Закаляй, Семен, свою настойчивость: в ней залог многих побед... Возьми пример сильного духом человека — следуй ему». Незадолго до того, как меня часть послала учиться, — майор погиб в бою. Но для меня он будет жить всегда. Если приходится решать затруднительный вопрос, я думаю: а что сделал бы Николай Константинович? И цель моей жизни — походить на него».

ЭКЗАМЕНЫ

В празднично убранном актовом зале, за небольшими століками, сидят выпускники. Бледен и сосредоточен Гербов, нервно покусывает губы Ковалев, проступил румянец на щеках Пашкова.

Письменная работа по литературе! Сделай одну лишнюю ошибку, и все пойдет прахом. Надо взять себя в руки, собрать свою волю и направить ее на то, чтобы написать сочинение как следует. Спокойно, спокойно, все будет хорошо. Большинство избрало тему: «Нас выра-

стил Сталин на верность народу»... Темой этой лучше всего можно передать глубокие сыновние чувства, бесконечную преданность любимому вождю.

За длинным столом, покрытым зеленым сукном, — государственная комиссия. Генерал, полковник Зорин, представители от Областного отдела народного образования, от Управления Суворовскими училищами — всего девять человек. Хоть девяносто! Главное — спокойствие и собранность! Все будет хорошо!

А за дверьми актового зала крутятся Артем Каменюка и Максим Гурыба. Минутой позже прибежал запыхавшийся Сенька Самсонов. У него брови уже успели так выгореть, что походили на белые наклепанные полоски пластыря. Шепотом спросил:

— Пишут?

— Пишут...

Ковалев в это время писал: «Я люблю мой народ всей силой своей души. Да и нельзя не любить народ, который дал миру Ленина и Сталина, первый в истории человечества построил социалистическое общество и уверенно идет к коммунизму».

Через час из актового зала вышел полковник Зорин.

Ребята под дверью шарахнулись было в сторону, а потом слетелись к нему:

— Товарищ полковник, как там наши?

У Зорина ласково затеплились глаза:

— Все в порядке!

И, придвинувшись ближе к ребятам, негромко:

— Завтра товарищ Сталин спросит у нашего главного генерала в Москве: «Ну, как прошли экзамены по русскому языку у суворовцев?»

Максим широко раскрыл глаза:

— Через три года и мы писать будем!..

— Готовиться надо уже сейчас, — посоветовал Зорин.

— Будьте спокойны, товарищ полковник, — страстно воскликнул Авилкин, — мы училище не подведем!

Минут за десять до начала экзаменов в младшей роте к майору Тутукину подошла пожилая женщина в простеньком платье с косынкой на голове.

— Мне генерал разрешил присутствовать на экзамене по истории... — деликатно сказала она.

— А вы кто? — с ноткой недоверия спросил командир роты.

— Колхозница, — просто ответила женщина и, открыв сумочку, протянула мандат депутата Верховного Совета СССР.

Она именно так просто и сказала: колхозница.

В классе знатная гостья держала себя с достоинством, но не чинясь. А когда после экзаменов Веденкин воскликнул, потирая руки: «Ну с, подсчитаем урожай!» — она улыбнулась понимающе:

— У вас тоже урожай! — и после небольшой паузы удовлетворенно добавила: — Хорошо отвечали... и очень мне понравились, я такими их и представляла.

И, словно оправдываясь, объясняя свое появление в училище, добавила:

— Я приехала учиться на курсах председателей колхозов и думаю: дай зайду посмотреть, какая у нас защита растет... Дело-то народное...

...Но вот и окончились у младших экзамены. Павлик Авилкин сидит с бабушкой на скамейке, около большого дерева, в глубине училищного двора. Спешит все рассказать ей.

— Бабуся, а капитан наш мне сказал: «Ну, вот вы теперь честный человек, трудились хорошо», и благодарность мне вынес. Бабуся, а дома я как приеду, сначала в форме ходить буду, в правление пойду, а потом в трусах буду ходить... К дедушке Степану на огороды загляну, расскажу, как мы здесь овощи выращиваем по методу Мичурина...

— Неужто, — заинтересовалась бабушка, — это ты мне покажи.

На участке при училище ребята под руководством преподавателя естествознания майора Бубенцова проводили опыты с ветвистой пшеницей, выращивали новые плодовые деревья, выводили различные сорта картофеля. Каждую осень в училище открывали сельскохозяйственную выставку, приглашали в гости колхозников...

— Это ты мне покажи, — повторила бабушка и любовно посмотрела на Павлика.

Она была в темном жакете. На груди блестела золотая звездочка, от которой Авилкин не в состоянии был

отвести глаза. Сняв с Павлика фуражку, бабушка заботливо стерла носовым платком пот со лба внука. Ее лицо в такой же золотой пыли веснушек, как у внука, только, может быть, потемнее, сияло от гордости.

— Сейчас пойдем! — вскакивает Павлик и тянет ее за руку.

— Да успокойся, суматошный, — говорит она умиленно, — оформишь документы, тогда...

Подошел генерал, поздоровался с бабушкой, спросил участливо:

— Вам до дома далеко идти от станции, когда приедете?

— Нас на станции встретят, — возбужденно сверкнул сияющими глазами Павлик и осекся, — как бы генерал не подумал, что он выскочка.

— Ну-ну... — протянул свое обычное генерал, — успешно закончили учебный год? — спросил он ласково у Павлика.

— Так точно! Троек нет!

— Хорошо, вот это хорошо, — похвалил начальник училища, — дома не забывайте, что вы — суворовец, о своем училище помните.

— Никак нет, не забуду. — И вдруг прорвалось не удержимо: — Товарищ генерал, я, когда приеду домой, пуговицы начищу, ботинки начищу, — Павлик браво вздернул голову, — и по главной улице!.. В правление зайду — и к председателю: Афанасий Лукич, разрешите обратиться? И доложу, что по учебе и дисциплине — пять, и благодарность есть в личном деле... А потом на молотилке работать буду!

— Ну, ну, — одобрительно кивнул генерал. — Когда вернетесь в училище, расскажете мне, как отпуск провели.

— Слушаюсь! — задыхаясь от переполнявшей его радости, вытянулся Павлик. — Разрешите идти готовиться к отъезду? — и, получив разрешение, пошел сначала солидно, но когда скрылся с глаз генерала, помчался, пританцовывая.

Чуть не свалил с ног Семена Гербова, остановился:

— Сема, мне сейчас генерал... Сема, мы с тобой еще увидимся? — И сразу помрачнел: — Ты уезжаешь навсегда?

— Увидимся, друг, еще увидимся, — успокоил Семен. — Мы экзамены сдадим, поедem в Москву на спартакиаду, потом получим домашний отпуск, а в конце августа возвратимся сюда с аттестатами и назначением.

Семен старается казаться спокойным, но у него большая неприятность: в сочинении по литературе он сделал одну грамматическую ошибку и теперь не в праве рассчитывать даже на серебряную медаль, хотя в году у него были по всем предметам пятерки, да и сейчас сдает так же.

Но Семен бодрится:

— До свиданья, — говорит он Павлику, — прощанье у нас впереди.

Кому не знакома эта сладкая и страшная минута, когдаходишь к столу экзаминаторов и протягиваешь руку за билетом? Кому не знакомы бешеные скачки мыслей в минуты обдумывания вопросов, когда кровь приливает к щекам, хочется выхватить и как можно скорее записать из стремительно мелькающего в памяти потока формул главное. И все кажется: что-то забыл, не успел, и ломается карандаш, и давит воротничок, и экзаминаторы смотрят выжидающе строго. Но вот любимый учитель ободряюще кивнул, и от этого на сердце сразу делается тепло, и приходит уверенность.

Кому не знакомо чувство удивления и облегчения, когда ответил и вышел из класса? Зачем волновался, ведь все знал, ведь все было так просто? И даже некоторая неудовлетворенность оттого, что барьер оказался не таким высоким, как представлялось, и некоторая звенящая опустошенность внутри — может быть, от напряжения, усталости.

Последний экзамен сдан! Если сказать эту фразу вслух — не поверишь самому себе. Да неужели не надо больше ночами сидеть над книгой, неужели можно не прикасаться к тетрадям, и чудесное ощущение свободы не покинет тебя через час, через день? Неужели прошло время, когда завидовал возчику — ему не надо завтра сдавать экзамен; дворнику, что беззаботно подметал двор; тем, кто проходит по улице — им не надо завтра сдавать экзамен! Неужели прошло время, когда все не для тебя: липы цветут не для тебя, музыка играет в саду не для

тебя и чаще всего говоришь себе: «Нельзя». Нельзя, нельзя всему этому поддаваться... Потом... А это потом далеко, почти неразлично.

Сегодня я наблюдал, как Володя быстро шел аллеей парка. Только что он сдал последний экзамен по физике. Ему, наверно, хотелось, вобрав побольше воздуха в легкие, закричать торжествуя: «О-го-го!», как кричат в вечерних сумерках у реки, и пронизывала жалость: это все никогда не повторится, как не повторяются восемнадцать лет. Прощай, деревцо, посаженное пять лет назад! Прощай аллея первой роты! Прощайте все, все: милый Петрович, с которым не раз воевал, пытаюсь проникнуть в актовый зал еще на один сеанс кинокартины; тетя Клава, что кормила в столовой; добродушный математик Сергей Герасимович, спрашивающий у зазевавшегося на уроке: «Может быть, чайку подать?». Каникулы, а там — отъезд в офицерское училище.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Из отпуска они возвратились загорелые, с выцветшими от солнца волосами, еще более возмужалые. В форме курсантов немного потерянно бродили по классам, казалось, прощались со всем. Рассеянно притрагивались к листьям цветов на окнах. Цветы эти когда-то покупали вскладчину.

Долго укладывали свои вещи в новенькие, только что полученные чемоданы, поблескивающие никелированными застежками.

Больше всего оказалось тетрадок — целый мешок собрать можно! И каждую тетрадь жаль оставить, но и тащить с собой все невозможно. Вот конспекты произведений классиков марксизма — это в училище обязательно понадобится. Старые контрольные работы, сочинения, — придется оставить. Тетрадь по логике? Аргументум ад гомине, игнорацио эленхи, задачи и примеры. Нет, оставлять нельзя! А о записках по военному делу и говорить не приходится. И опять набралась гора тетрадок!

Пригородный поезд прибыл в лагери рано утром.

В десять часов все училище выстроилось на празднично украшенном плацу. Здесь не только офицеры и

воспитанники: приехали семьи офицеров, жители ближних колхозов, школьники, рабочие, вольнонаемные работники училища.

Торжественная приподнятость чувствуется в пожатиях рук, улыбках, не сходящих с губ, блеске глаз.

Вдали показалась машина генерала, остановилась у роши. На генерале голубовато-зеленый парадный мундир, перехваченный белым широким поясом. Рукой генерал слегка придерживает шашку с алым темляком. Подполковник Островский быстрым шагом идет навстречу начальнику училища. На середине плаца отдает салют, сверкнув клинком.

Полуэктов, не отнимая руки от фуражки, подходит сначала к оркестру — такова традиция.

— Здравствуйте, товарищи музыканты, поздравляю вас с первым выпуском нашего училища...

И пока генерал проходит вдоль фронта, здороваясь и поздравляя, перекаты голосов сопровождают его — то почти басистые, когда отвечают старшие, то детски-звонкие, когда он останавливается против малышей.

Генерал зачитывает приказ: «...имена Суркова Андрея, Ковалева Владимира (закончивших училище с золотой медалью), Пашкова Геннадия (закончившего с серебряной медалью), — занести на мраморную доску в актовом зале...»

В торжественной тишине выпускники принимают военную присягу. К небольшому, покрытому красным сукном столу подходит Савва Братушкин. Сильным голосом произносит:

— Я клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным воином...

Семен Гербов принимает присягу верности вторично в своей жизни... Первый раз он давал партизанскую клятву в тылу врага.

Над застывшими рядами рот несется:

— Клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему Народу, Советской Родине и Советскому Правительству...

— К торжественному маршу, — раздается протяжная команда, возвещающая начало парада, и строй напружинился, — поротно... на одного линейного дистанция!

Серебряными лучами легли клинки на плечи офицеров. Рота за ротой — мимо линейных, красными флажками окантовавших плац. Рота за ротой — мимо трибуны, с которой внимательными, добрыми глазами смотрит генерал.

А после парада праздничный обед.

Проводы сыновей в дальний путь.

Ребята привели под руку своих учителей, Зорина, воспитателей, усадили за свой стол генерала. Посреди стола возвышалось соблазнительное творение старшего повара училища — Порфирия Спиридоновича: мирно спал на длинном блюде аппетитно зарумяненный, в ореоле кулинарных специй... поросенок — предмет бесчисленных остроумств ребят.

И, как всегда бывает в часы таких прощаний, начались откровения, признания, разоблачения.

— А помните, — обратился Семен Герасимович к Володе, поглаживая бороду, — я однажды пришел в класс, а на доске написано: «Дано, что Сема лезет в окно. Доказать, сколько он будет влезать?». /

— Это мы не у... это мы не у... — хохочет до слез Володя, — не успели стереть.

— А помните, — спрашивает своих соседей немолодой, худощавый географ с высоким шишковатым лбом, — помните, года три назад перед моим уроком на классной доске кто-то нарисовал ряд пробирок. Каждую из них назвал предметом. Одну пробирку — физикой, другую — литературой, третью — математикой. Над рисунком общая надпись «Процент воды». И в каждой из пробирок показан разный уровень этой воды. Выше всех была линия воды у пробирки с надписью «География». Я сделал вид, что не понял рисунка, но критику эту принял. Задумался над содержанием своих рассказов... А ведь, пожалуй, и правда, воды тогда многовато было...

— Рисовал это я, — смиренно признался Павлик Снопков. Сейчас он походил на колобок — круглолицый, с едва заметным носом-репкой и темными щелочками быстрых плутоватых глаз. За последние годы Павлик мало подрос. Он очень переживал это обстоятельство и решил несколько поправить дело — пойти в танковое училище. Кроме прочих соображений, привлекала высота танка.

— Я рисовал, — повторил Павлик, — вы простите, молодости сделал...

— Ничего, ничего, — ничуть не обижаясь, ответил географ. — Зато и ваш рассказ, сударь, при ответах не лишен был порой одного существенного недостатка.

Учитель хитро приподнял бровь.

— Когда нетвердо знали урок, вдруг вспоминали, что приехали с Украины, и начинали ввертывать «нехай», «мабуть», напрашиваясь на снисходительность.

Уличенный Павлик с комическим вздохом сожаления признался и в этом маневре.

Савва Братушкин, ловко орудуя кухонным ножом, делал поросенка.

— Савва! Мне пятачок!

— Товарищи, это несправедливо! Почему он хвостик присвоил себе?

— Своя рука владыка!

На другом конце веранды Виктор Николаевич Веденкин извлек из полевой сумки какую-то тетрадь в слегка пожелтевшей обложке. Передавая Ковалеву, сказал:

— Это ваша работа по истории... Пять лет назад писали... Сохраните как документ роста...

Володя с любопытством стал перелистывать тетрадь.

— Неужели это я писал! — поражаясь, спрашивал он у Веденкина, — да неужели же я?

Ребята начали вспоминать, какими они приехали в училище, свой первый день здесь.

Андрей явился в валенках, подшитых снизу резиной от противогоза, у Павлика Снопкова на шею был намотан длиннющий клетчатый шарф. Вася Лыков как сел тогда, в день приезда, в углу комнаты, на огромный «сидор» — мешок с домашними пирогами и семечками, перемешанными с махоркой, так и не вставал весь день, воинственно озирался — не думает ли кто покуситься на его единоличное хозяйство. Двое подрались из-за какой-то железной коробки.

Сейчас ребята вспоминали обо всем этом со смехом и внутренним недоумением: да неужели это они были такими, и так сравнительно недавно?

— Это, детки, называется, — с комической наизидательностью воскликнул Павлик, — процессом очеловечения!

Правой рукой он обнял сидящего рядом Геннадия, прошептал на ухо:

— Ты мне друг на всю жизнь...

Геннадий опустил на скамейку рядом со мной (по правую руку от меня сидел Володя), мы стали вспоминать самое первое знакомство в классе, когда я только только приехал в училище, столкновения первых месяцев.

— А помните, — спрашивал Володя, — я был у вас дома, а вы спросили у меня: «Вы знаете, Владимир, отрицательные черты своего характера?», я ответил: «Знаю». Вы на меня вопросительно посмотрели. «Неуравновешен, вспыльчив», — начал я перечислять. «Все», «Ну и... грубиян», — «То-то», — сказали вы, а глаза у вас смеются, будто говорят: «А все же я тебя заставил вещи называть своими именами».

Я не помнил этот разговор — мало ли их у воспитателя — но мне было очень приятно, что для Володи он не прошел бесследно.

— Вы знаете, — придвинувшись ко мне, тихо сказал Геннадий. — Самое тяжелое в жизни, если товарищи отворачиваются. Я очень прочувствовал это... И ценю, что ко мне теперь хорошо относятся. Теперь я свои поступки стараюсь оценивать глазами коллектива... У меня есть возможность поступить в Московское училище... отец предлагал... но я отказался: хочу быть вместе с нашими...

Разъезжались во все концы Советского Союза, но старались сбивать земляческие группки.

Отправлялись в пехотное училище Ковалев, Пашков и еще человек двенадцать. Даже Гербов, изменив свои первоначальные планы, решил идти в пехоту.

Савва Братушкин — в артиллерию. Виктор Сазонов — в авиацию.

Из-за стола поднялся полковник Зорин:

— Каждый возраст, дорогие товарищи, имеет свою прелесть, как имеет свою прелесть каждое время года, — начал он. — Прелесть вашего возраста в том, что перед вами открываются огромные просторы жизни. Живите, наслаждайтесь жизнью, трудитесь на благо народа, будьте стойкими, честными защитниками нашей великой Родины.

Никогда еще никто не получал такого наследства, как вы. В наследство оставляли фамильное серебро, усадьбы и сундуки. Вам же вручают отцы драгоценный клад: единственное в мире социалистическое государство. Оправдайте надежды нашего народа.

Прелесть нашего возраста, — Зорин дружески подмигнул Островскому, — в том, что мы в вас видим продолжение себя. Представляете, лет через десять-пятнадцать вы придете к нам капитанами, майорами и вспомните этот день, нашу совместную жизнь... В памяти останется только самое хорошее. Уверяю вас: неприятности выветрятся, а вот хорошее останется. И возможно, что в батальон, которым вы будете командовать, явится служить молоденький лейтенант и в разговоре упомянет, что окончил Н-ское Суворовское училище. Да ведь и я его кончал! — воскликнете вы, и этот молоденький лейтенант станет сразу родным, и пойдут нескончаемые воспоминания о дорогом нашем училище.

Двадцать четвертого августа 1948 года в девять часов утра училище снова выстроилось для прощания с выпускниками. На плац выплыло трепещущее алое знамя. По левую и правую руку знаменщика — ассистенты с автоматами. Маленький барабанщик бил «Походный марш».

— Училище, смирно! — раздалась команда. — Для встречи слева, под знамя, слушай, на краул!

Оркестр заиграл «Встречный марш», и знамя, прошепестев вдоль фронта, остановилось перед строем.

Первым от группы выпускников отделился правого фланговый Андрей Сурков. Стройный, сильный, подошел к знамени. Остановился, снял пилотку, опустил на колено и пересохшими губами прикоснулся к святыне.

Когда дошел черед до Семена Гербова прощаться с училищным знаменем, он, оторвавшись от алого полотнища, поднялся с колена и взволнованно сказал:

— Спасибо великой большевистской партии, любимому нашему отцу Иосифу Виссарионовичу за все... за все, что сделано для нас... за теплоту, заботу... Спасибо нашим учителям, что не жалели сил... Где бы мы ни были, будем верны училищу... Вам никогда не придется

краснеть... — И не закончил, взволнованно провел ладонью по волосам, надел пилотку, твердым шагом пошел в строй.

Я подумал: такое прощание оставит в жизни человека неизгладимый след. Хорошо бы и средней школе перенять эту традицию.

А позади строя, у трибун, робко толпилась еще не переодетая в форму суворовцев только что принятая в училище мелюзга. Еще держалась за руки мам, панически шарахалась в сторону от каждого офицера и тотчас с любопытством вытягивала шею, подсчитывая награды у него на груди. Вы загляните в глаза этих малышей и порауйтесь!

Но время уезжать. Ждут машины, увозящие выпускников из лагерей на вокзал.

Трудно ребятам оторваться от товарищей, хочется еще и еще раз обнять воспитателя. Владимир крепко прижимает к себе Артема.

— Так ты не забудь... Мой карабин № 1076. Когда в первой роте будешь, возьми его, только учти — мушка велика...

Артем, не стесняясь, обнимает за шею Володю, смотрит на него синими, заплаканными глазами.

Подходят прощаться Тутукин, Веденкин, Беседа. Сергей Герасимович, целуя Геннадия, наставляет:

— Помни, должен быть полет мысли...

Ковалев, отойдя в сторону, говорит комсору второй роты Леониду Руденко:

— Главное, Леня, поддерживать дружбу с малышами... На этом все должно строиться...

— Я понимаю, — сдвигает щеточки бровей Руденко, — мы кое-что уже наметили; я тебе напишу.

Женщины — вольнонаемные работницы, жены учителей — суют в руки отъезжающим свертки с лакомствами; кто-то притащил охапку цветов, библиотекарь Мария Семеновна говорит Пашкову в десятый раз:

— Смотри ж пиши...

— Пора, в добрый путь, — машет генерал рукой ребятам, уже забравшимся в кузова машин. — Так договорились, — напоминает Зорин, — в каждую годовщину училища, где бы вы ни были, приезжайте к нам на денек. Отчитаться за год. Кто не сможет — тот присылает телеграмму.

Загудели, двинулись машины. Уезжающие замахали фуражками. Прощались с домом, детством, семьей. А малыши кричали вслед:

— Приезжайте в гости!

— Володя, я буду на тебя похож!

Машины делались все меньше и меньше и вот, наконец, скрылись за поворотом широкой дороги.



СОДЕРЖАНИЕ

Тетрадь первая

| | |
|-------------------------------|----|
| Приезд в училище | 3 |
| Первые впечатления | 5 |
| В классе | 8 |
| Спор командиров рот | 11 |
| Глубинное течение | 14 |
| Полковник Зорин | 19 |
| Учитель математики | 22 |
| Воспитанник Ковалев | 24 |

Тетрадь вторая

| | |
|--------------------------------------|----|
| Начальник училища | 31 |
| Рапорт генералу | 36 |
| В поисках правильного пути | 41 |
| Утром и вечером | 44 |
| Что такое настоящая дружба | 48 |
| Победа! | 53 |

Тетрадь третья

| | |
|---------------------------------------|----|
| Педагогический совет | 56 |
| Влюбленный в свое дело | 65 |
| Все тот же «неисправимый» | 69 |
| Главное в ребенке | 79 |
| Завершение истории Каменюки | 83 |
| Дневник Володи Ковалева | 91 |
| Приезд инспектирующего | 95 |

Тетрадь четвертая

| | |
|---|-----|
| В лагерях | 99 |
| Дыхание родины | 110 |
| «Персональное дело Пашкова» | 117 |
| Каменюку принимают в комсомол | 126 |

Тетрадь пятая

| | |
|----------------------------------|-----|
| Дружеская рука | 135 |
| Как возникают традиции | 142 |
| После отбоя | 147 |
| Любовь к искусству | 154 |
| Часы досуга | 157 |

Тетрадь шестая

| | |
|-------------------------------------|-----|
| На особом положении | 167 |
| Беседа продолжает воевать | 172 |
| Зрелость | 180 |
| Воспитание воли | 182 |
| Экзамены | 185 |
| Первый выпуск | 190 |



Редактор *Сахранова Т. П.*

Художник *Васильев Е. П.*

Технический редактор *Зубакова Т. П.*

Корректор *Лукьянова А. П.*

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Г-32444. | Подписано к печати 7.08.50. | Изд. № 1/3246. | Заказ № 616. |
| Формат бумаги 84×108 ¹ / ₃₂ | 3,125 бум. л. = 10,25 печ. л. | | 10,43 уч.-изд. л. |

2-я типография имени К. Е. Воропилова Управления Военного Издательства
Военного Министерства СССР

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное Издательство просит присылать свои отзывы и замечания на эту книгу по адресу: Москва, 53, Орликов переулок, 3, Управление Военного Издательства.

4. 367 (20037)

Цена 5 руб.

0.60
28

25

14 0

50

4 0 25
15

125

125